ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
им. А. И. ГЕРЦЕНА

Л. И. КУЛАКОВА

КОМПОЗИЦИЯ „ПУТЕШЕСТВИЯ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ“ А. Н. РАДИЩЕВА

(Лекция)

ЛЕНИНГРАД
1972

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
им. А. И. ГЕРЦЕНА

Л. И. КУЛАКОВА

КОМПОЗИЦИЯ „ПУТЕШЕСТВИЯ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ“ А. Н. РАДИЩЕВА

(Лекция)

Доктору Гельмуту
Грассгофу
по поручению
автора

ЛЕНИНГРАД
1972

Научный редактор проф. Б. Ф. ЕГОРОВ

Технический редактор *К. П. Орлова*

Корректор *Н. Г. Вайнтрауб*

М-22052 Сдано в набор 6-I-72 г. Подписано к печати 22-II-72 г.
Формат бумаги $60 \times 84^1/_{16}$. Объем 3,5 п. л. Тираж 2000 экз.
Цена 25 коп. Заказ 4068

Типогр. газ. «На страже Родины»

Вопрос о композиции «Путешествия из Петербурга в Москву» давний и спорный. О великой книге, создание которой воистину было подвигом писателя, писали как о подражании «Сентиментальному путешествию» Л. Стерна, объединении не связанных между собою путевых впечатлений. Собрание «пестрых глав» видел в «Путешествии» и крупнейший советский исследователь жизни и творчества Радищева Я. Л. Барсков, но он сосредоточил внимание и на другом — на автобиографичности образа Путешественника: «Путешествие» — «прежде всего это автобиография или исповедь индивидуалиста в духе Руссо»[1].

Г. П. Макогоненко сделал важный шаг для понимания книги, поставив вопрос о единстве ее идейного замысла. Он возразил против рассмотрения «Путешествия» как «хаоса мыслей и чувств» и против отождествления образа Путешественника с Радищевым. По его мнению, «единым сюжетом «Путешествия» является история человека, познавшего свои политические заблуждения и открывшего правду жизни, новые идеалы, ради которых стоило жить и бороться». Если же сближать Радищева с Путешественником, то «Радищев оказывается не революционером, а политическим недорослем»[2].

Проф. Д. Д. Благой назвал эту схему при всей ее внешней стройности и убедительности «неисторичной и придуманной»[3]. Возражали и другие исследователи. Г. П. Макогоненко в бóльшей части своих работ остается верен избранной трактовке и лишь варьирует границы намечаемых им трех этапов эволюции взглядов Путешественника.

---

[1] Я. Л. Барсков. А. Н. Радищев. Жизнь и личность. — В кн.: «Материалы для изучения «Путешествия из Петербурга в Москву». М., Academia, 1935, стр. 130.

[2] Г. П. Макогоненко. О композиции «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. — «XVIII век», сб. 2. М.—Л., изд. АН СССР, 1940, стр. 36; Радищев и его время. М., ГИХЛ, 1956, стр. 437—438, и др. работы.

[3] Д. Д. Благой. История русской литературы XVIII века. М., Учпедгиз, 1955, стр. 475.

Превосходно написал Г. А. Гуковский: «Путешествие из Петербурга в Москву» — это книга о крепостнической России. Ее герой — не отдельный человек, и ее построение не зиждется на частном событии. Ее герой — родина, величественная, но угнетенная, и повествуется в ней о жизни всей страны и всего народа». И далее: «Каждая глава-тема — это одна из сторон единого процесса жизни родины»[1].

О том, что в «Путешествии из Петербурга в Москву» помимо Путешественника выступает ряд людей, на которых действительность оказывает отрезвляющее влияние, писали и автор настоящей лекции, и более пространно Н. И. Громов[2].

А. Н. Васильева упрекнула исследователей за односторонний подход к образу Путешественника: «Громов почти не уделяет внимания идейному росту Путешественника и уже в начале книги видит в нем революционера. Макогоненко, наоборот, представляет Путешественника в начальных главах совершенным «Tabula rasa» в отношении знания жизни, с которой он будто бы сталкивается впервые»[3].

Л. Б. Светлов[4] и А. И. Старцев возразили против резкого разграничения позиций Путешественника и Радищева: «Путешествие» — не мемуарное произведение, подобно «Житию Ушакова», и Путешественник близок Радищеву в той мере, в какой это возможно для литературного персонажа»[5].

Ю. Ф. Карякин и Е. Г. Плимак подчеркнули значение постановки вопроса о композиции «Путешествия», без решения которого нельзя понять ни своеобразия «Путешествия», ни уяснить мировоззрения Радищева[6].

Ища путей более глубокого понимания «Путешествия», следует учитывать, что печатный текст сложился не сразу.

---

[1] Г. А. Гуковский. А. Н. Радищев. — В кн.: «История русской литературы», т. IV. М.—Л., изд. АН СССР, 1947, стр. 534.

[2] См.: Л. И. Кулакова. А. Н. Радищев. Л., 1949, стр. 76; Н. И. Громов. О композиции «Путешествия из Петербурга в Москву». — В кн.: «Радищев. Статьи и материалы». Изд. ЛГУ, 1950, стр. 129—147.

[3] А. Н. Васильева. О некоторых художественных особенностях «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. — Ученые записки МОПИ, 1956, т. 40, вып. 2, стр. 142.

[4] Л. Б. Светлов. А. Н. Радищев. М., изд. АН СССР, 1958, стр. 62.

[5] А. Старцев. Радищев в годы «Путешествия». М., «Советский писатель», 1960, стр. 144, 145 и др.

[6] Ю. Ф. Карякин и Е. Г. Плимак. Запретная мысль обретает свободу. М., «Наука», 1966, стр. 59 и др.

Мы не знаем, к какому времени относится замысел книги. «Слово о Ломоносове» начато в 1780 г. Ода «Вольность» написана около 1783 г. В восьмидесятые годы писались отдельные главы. В целом «Путешествие» было завершено к концу 1788 г., переписано одним из служащих возглавляемой Радищевым петербургской таможни А. Царевским (который был и учителем детей Радищева), отправлено в цензуру. Получив разрешение обер-полицеймейстера Н. Рылеева (написавшего «Печатать позволяется», явно не прочитав книгу), Радищев продолжил работу[1]. Он вносил мелкие изменения, дописывал большие куски, перекомпоновывал их. Так, например, «Спасская Полесть» состояла из одного эпизода — встречи с разоренным человеком; содержание «Подберезья» составлял сон Путешественника; важнейшего для всей книги рассказа приказного о наместнике — любителе устриц — просто не было. В «Новгороде» отсутствовали «Летопись Новгородская» и рассказ о Карпе Дементьиче, в «Едрове» — заключительный разговор с ямщиком, короче излагались проекты «гражданина будущих времен» в «Хотилове», иными были начало и конец книги. Об этих и других значительных переделках мы скажем далее.

Радищев правил, дополнял и сокращал текст и в процессе печатания книги: в наборе и корректуре. Существовала, по-видимому, сводная промежуточная рукопись: в ней сохранялась значительная часть старого текста и в нее же вносились поправки. От этой рукописи, увезенной друзьями писателя накануне выхода книги в свет, и ведут начало те списки «особого состава», где сохраняются бывший в цензуре прозаический текст, ода «Вольность» в 54 строфы полностью и «песнословие» «Творение мира». Выискивать дополнения, якобы сделанные Радищевым в 1799—1800 гг., или объявлять все разночтения домыслом переписчиков равно неверно. Доказать это нетрудно, но мы отойдем от темы[2].

Радищев не мог не понимать, что серьезные отступления от утвержденного цензурой текста повлекут за собой кару,

---

[1] История создания «Путешествия» на основании известных ранее данных и материалов, обнаруженных исследователями в последние десятилетия, рассматривается в статье В. А. Западова «Работа А. Н. Радищева над «Путешествием». — «Русская литература», 1970, № 2, стр. 161—172. Дополнительный материал см.: А. Г. Татаринцев. Неизвестная редакция «Путешествия из Петербурга в Москву». — «Русская литература», 1970, № 4, стр. 80—94.

[2] Подробно об этом см. в указанной выше работе В. А. Западова.

но и остановиться было трудно не только потому, что жизнь давала новый материал. В процессе работы созревал мыслитель и писатель. Радищев создавал «Путешествие», оно создавало писателя. Вбирая в себя думы и чувства автора, увиденные им картины жизни, книга обостряла зрение, усиливала эмоции, требовала аргументации, рождала новых персонажей. С ними входили новые интонации, становилась разнообразнее манера повествования. Горький смех, сарказм сатирика, слезы человека, воспринимающего чужую беду и боль как свою собственную, оттенялись бытописью, обличительный пафос — повседневным говорком, издевкой, юмором. Проповедь переплеталась то с полной драматизма исповедью, то с жанровыми сценками, то с шуточными признаниями. Наряду с этим возрастала вера в силу печатного слова, в силы народные, сильнее и отчетливее зазвучали оптимистические предвидения.

Широта проблематики, насыщенность философскими идеями, многообразие картин русской жизни XVIII века, поток чувств и мыслей Путешественника и встреченных им в пути лиц, разнообразие эпизодов увлекают читателя и в то же время затрудняют понимание книги, которая вызывала и вызывает взаимоисключающие суждения. Преградой часто становится язык, отделенный от нас двумя столетиями. Предельно простой и ясный в бытовых сценах, он труден в исполненных пафоса монологах, в суждениях, затрагивающих философские, этические, политические проблемы. Что делать? Не понять «Путешествия», не почувствовать уязвленной души автора — значит намного обеднить свой духовный мир. Задача данной лекции — помочь студенту, который впервые обращается к «Путешествию», разобраться хотя бы в основных линиях построения книги. Затрудненность языка Радищева заставляет вводить элементы пересказа [1].

«Путешествию из Петербурга в Москву» предпослан эпиграф: «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй». Это чуть измененная строка из той главы поэмы В. К. Тредиаковского «Тилемахида», в которой Телемак видит мучения злых

[1] Текст «Путешествия из Петербурга в Москву» цитируется по I тому Полного собрания сочинений А. Н. Радищева (М.—Л., изд. АН СССР, 1938) без ссылок, чтобы не отвлекать внимание читателя. В цитатах из других сочинений Радищева в тексте указаны том и страница того же издания. Замечания Екатерины II на «Путешествие» приводятся по книге: Д. С. Бабкин. Процесс А. Н. Радищева. М.—Л., изд. АН СССР, 1952, стр. 156—164.

царей в аду. В качестве одного из видов наказания им преподносят зеркала Лести и Истины. В первом они видят себя такими, какими их изображали при жизни: чем хуже царь, тем прекраснее облик его, ибо «злых паче боятся», и сами они «желают бесстыдно подлых ласкательств». Зеркало Истины отражает их подлинный облик, более страшный, чем самые страшные чудовища, в том числе стоглавая Лернейская гидра и охраняющий ад пес Кербер (Цербер) —

Чудище обло, озорно, огромно, с тризевной и лаей,
Из челюстей что своих блюет кровь ядовиту и смольну.

Радищевское «стозевно» объединило два чудовища в одно. Только в отличие от «Тилемахиды» в «Путешествии» речь идет не о злых царях, а о самодержавно-крепостнической России в целом.

Трудно представить «Путешествие» без потрясающего глубиной и силой посвящения А. М. К. Но эта часть, в которой содержатся важнейшие положения, была написана после представления рукописи в цензуру, видимо, уже после того, как Радищев решил завершить книгу «Словом о Ломоносове». Посвящение понадобилось для определения уже вполне сложившейся позиции автора и оправдания многочисленных обращений к другу-сочувственнику в тексте.

Алексей Михайлович Кутузов — масон, ищущий путей преодоления зла в нравственном самоусовершенствовании, — не единомышленник Радищева. Друг юности (Кутузов и Радищев учились в Пажеском корпусе, Лейпцигском университете, служили в Сенате, жили на одной квартире) был близок писателю как человек чуткий, испытывающий сострадание к несчастным. Он «сочувственник» автора. Это и много и мало.

«Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвленна стала». Эти горестные слова начинают новый этап русской литературы. В них передано то ощущение душевной уязвленности, ответственности каждого за страдания других, то признание неразрывности интересов личности с интересами народа, которые сделали русскую литературу XIX века совестью нации.

Боль за человечество могла бы привести к отчаянию, если бы не смягчалась сознанием, что искоренение зла зависит от самих людей, от каждого человека: «Воспрянул я от уныния моего, в которое повергли меня чувствительность и сострадание; я ощутил в себе довольно сил, чтобы противиться за-

блуждению, и — веселие неизреченное! я почувствовал, что возможно всякому быть соучастником во благодействии себе подобных. Се мысль, побудившая меня начертать, что читать будешь».

Это суровое и прекрасное представление о «веселии» — радости, счастье — впервые сформулировано Радищевым. С новой силой та же мысль вспыхивает у декабристов, в вольнолюбивых стихах Пушкина, в произведениях революционных демократов, Некрасова, Горького.

Радищев хочет открыть глаза людям, возбудить в них ненависть к злу, найти единомышленников, а для этого надо научить их распознавать истину, «взирать прямо на окружающее».

Через «Путешествие» и проходит неприкрашенный облик стозевного чудовища и противопоставленный ему облик народа. Книга строится на контрасте двух Россий, к несчастью, неотделимых друг от друга: очень сильной, но обреченной на уничтожение России угнетателей и подлинно народной России, которой принадлежит будущее.

Тема и цель книги требовали разностороннего воспроизведения русской жизни, что и определило жанр. Форма путешествия позволяла ввести такое количество образов, эпизодов, картин, рассуждений, часть которых могла оказаться лишней в повести со строго намеченной фабулой. Вспомним, что через семьдесят пять лет аналогичную форму избрал великий поэт, также считавший счастливым того,

...кому судьба готовила
Путь славный, имя громкое
Народного заступника,
Чахотку и Сибирь.

Только Н. А. Некрасов отправил в путешествие по Руси самих крестьян.

Бесполезно отыскивать у Радищева формальную связь между эпизодами, воздействующими на одного героя. Это неизбежно поведет к десяткам концепций, из которых любая будет беднее действительного содержания книги. Отказавшись же от поисков фабулы, условно скрепляющей главы, мы увидим сюжетную слаженность произведения, его логичность. Логичность внутреннюю, ибо жанр путешествия определял ту кажущуюся свободу, которая обманывает и вдумчивых исследователей, позволяя им говорить о самостоятельности сюжетных мотивов в разных главах.

Выезд. Раздумья человека, простившегося с близкими. Чувство одиночества. Непроглядная тоска. Тяжелый сон: «Един, оставлен, среди природы пустынник». К счастью, рытвина, в которую попала кибитка, встряхнула коляску и разбудила Путешественника.

Много таких отрезвляющих «рытвин» будет на дороге из Петербурга в Москву. Функция их различна. Иногда они таят насмешку над обывательским здравым смыслом, пугающимся смелой мысли, иногда возвращают героя к реальной действительности, делают образ более земным, близким читателю. И страстное обличение, гнев Путешественника превращаются в реакцию нормального человека на постыдную реальность.

Первая станция — София. Путешественник пытается разбудить почтового комиссара и получить лошадей. Лошади есть, но комиссар, увидев, что перед ним не особо важная персона, вновь укладывается спать. К счастью, ямщик, получивший за проезд до Софии двугривенный на чай, рассказал о щедрости Путешественника. Лошади нашлись. Повозка тронулась.

Почтовый стан позади. Ямщик затянул песню. Скорбная мелодия несется над дорогой. С ее щемящими душу звуками в книгу вторгается основной герой — русский народ.

Задумчив и мягок тон песни: «На сем музыкальном расположении народного уха умей учреждать бразды правления». Но русский человек «в веселии своем порывист, отважен, сварлив. Если что-либо случится не по нем, то скоро начинает спор или битву». Размышления о национальном характере, предсказание, что судьбу России будет решать бурлак, то есть сам народ, принадлежат Путешественнику и говорят о том, что перед нами не «политический недоросль», не сентиментальный мечтатель, а человек, думавший о кардинальных вопросах русской жизни задолго до выезда. Но почему именно о бурлаке вспоминает Путешественник? Не потому ли, что автор, служивший в петербургской таможне, постоянно видел бурлаков, подтягивающих суда к пеньковым буянам? Так или иначе Путешественник передает думы Радищева и в самом начале намечает тезис, доказательству которого будут посвящены последующие главы.

Под унылый напев Путешественник думает о сне и бодрствовании, о жизни и смерти, повторяет высказанную в «Житии Ушакова» и характерную для философии XVIII века

мысль о праве на самоубийство человека, убедившегося в бесполезности своего существования.

Как соединить фабульно три части одной главы: полукомическое столкновение с почтовым комиссаром, размышления о национальном характере и будущем России, о жизни и смерти? Внешне связи нет, но есть логика пути: дорога, почтовый стан, встречи, вновь дорога, раздумья, а мысли человека не всегда следуют строгой логике... Впрочем, раздумья о цели жизни не повисают в воздухе: они связаны и с главой «Крестьцы», и с первоначальной концовкой книги.

Ироничен рассказ о копеечном конфликте с мелкой сошкой, воспитанной государственной системой. Серьезны думы о судьбах народа и личности. Вновь возрождается ирония в главе «Тосна». Ездила в 1787 г. императрица на Украину и в Крым. Легко катились колеса карет государыни и сопровождающих ее лиц по дороге, наскоро забросанной землей. Недолговечно показное благополучие. После дождей земля размокла, вязнут колеса в грязи. Пришлось Путешественнику выйти из кибитки.

В почтовой избе стряпчий с изодранными бумагами. За небольшую мзду он составляет желающим родословные. Жалок попрошайка, готовый произвести любого в потомки Мономаха. Но его бесполезный труд мог родиться лишь в обществе тунеядцев. Возрождению «хвастовства древния породы», против которой боролся Петр I, способствовал не писец, а общая погоня за знатностью рода и введение родословных книг по губерниям. Так дети казака Григория Розума Алексей и Кирилл Разумовские оказались потомками польской знатной фамилии, купцы Лазаревы повели род от армянских царей и т. д.

Над хвастовством «породой» можно посмеяться. Положение народа вызывает боль, гнев. Пашет под Любанью крестьянин в воскресенье. Впрягает попеременно двух лошадей, давая отдых им, а не себе, и откровенно признается, что на помещика, который заставляет его работать на барщине шесть дней в неделю, он трудится с меньшим рвением: «У него на пашне сто рук для одного рта, а у меня две для семи ртов... Да хотя растянись на барской работе, то спасибо не скажут».

Наглядно показав непроизводительность рабского труда, Радищев останавливает внимание на бесправии крестьян. Мучают баре, приказчики, арендаторы. «На дурного приказчика хотя пожаловаться можно, а на наемника кому?»

Истории с «наемниками» разыгрывались часто. Одна из них происходила на глазах писателя. Его дальний родственник и давний знакомый драматург Д. И. Фонвизин, с братом которого (Петром) Радищев учился в Пажеском корпусе, сдал в аренду свое поместье некоему барону Медему. Разоренные арендатором голодные крестьяне добирались до Петербурга, жаловались, но Фонвизин помочь не мог: тяжба с Медемом довела до нищеты самого автора «Недоросля».

«Мучить людей законы запрещают», — говорит Путешественник, и теоретически его слова соответствуют истине, ибо еще в «Наказе» Екатерина II писала: «Надлежит, чтоб законы, поелику возможно, предохраняли безопасность каждого особо гражданина», и в отдельных случаях особо жестоких помещиков судили за «мучительство». Но фактически прав пахарь: «Правда, но небось, барин, не захочешь в мою кожу».

В § 35 «Наказа» утверждалось: «Равенство всех граждан состоит в том, чтобы все подвержены были тем же законам». А на деле неравными перед законом оказывались не только помещики и крестьяне, но и крестьяне казенные и помещичьи. «Одни судятся своими равными, а другие в законе мертвы»,— думает Путешественник. Закон заинтересовывается крепостным лишь тогда, когда тот совершает преступление. «Сия мысль всю кровь мою воспалила. — Страшись, помещик жестокосердый, на челе каждого из твоих крестьян вижу твое осуждение».

Это не только моральная, но и политическая оценка, и относится она и к помещикам и к правительству, с согласия которого крепостные «в законе мертвы». А имеет ли право один человек располагать жизнью другого, — размышляет Путешественник о своем отношении к слуге. «Кто тебе дал власть над ним? — Закон. — Закон? И ты смеешь поносить сие священное имя? Несчастный!.. Слезы потекли из глаз моих, и в таковом положении почтовые клячи дотащили меня до следующего стана». Легкая автоирония последних слов не снимает серьезности мысли: гражданские узаконения находятся в вопиющем противоречии с естественным законом природы, согласно которому все люди равны.

Бесчеловечность государственной системы наглядно представлена в главе «Чудово» уже вне вопроса о крепостном праве.

Встреченный Путешественником приятель Ч. (речь идет, видимо, о друге писателя П. И. Челищеве) рассказал возмутительную историю. Он отправился на лодке из Кронштадта

в Систербек (Сестрорецк). Неожиданно разыгравшаяся буря занесла лодку, давшую течь, между камнями. Один из матросов, рискуя жизнью, добрался до берега, но начальник спал, а дежурный сержант выгнал посетителя. Погибающих спасли простые солдаты. Ч. обратился к коменданту с жалобой и получил равнодушный ответ: «Не моя то должность». Не нашлось управы на бессердечного и в Петербурге. «Но в должности ему не предписано вас спасать», — сказал некто». Эти слова, произнесенные, видимо, важной персоной, страшнее всего происшедшего, ибо доказывают бездушие бюрократических законов, бессердечие нравственной атмосферы, убивающей в чиновнике естественное для нормального человека желание помочь тем, кто попал в беду.

«Чем же мы можем преимуществовать пред непросвещенными азийскими правлениями?» — восклицал Ч. в ранних редакциях книги. Вопрос страшный, ибо он уравнивал прославленную философами просвещенную монархию Екатерины II с азиатскими деспотиями, беззаконие, тирания и произвол которых постоянно осуждались просветителями.

Сняв прямое уподобление, Радищев сохранил воспоминание Ч. о рассказанной французским философом Рейналем истории ста пятидесяти англичан, задохнувшихся в темнице бенгальского правителя, и в примечании привел цитату из Рейналя, завершающуюся словами: «Чему более удивляться: зверству ли спящего набаба или подлости не смеющего его разбудить». Таким образом, крайне неприятное для русской государыни сравнение осталось. Читая «Путешествие», Екатерина II резко возразила против сопоставления, и едва ли случайно приказала отыскать автора анонимной книги после чтения именно этой главы.

Убедившись, что поиски справедливости бесплодны, Ч. покидает чиновный Петербург — «жилище тигров» — и решает жить в уединении. Может быть, он неправ, и происшедшее — случайность? Ведь «малые и частные неустройства в обществе связи его не разрушат, как дробинка, падая в пространство моря, не может возмутить поверхности воды».

На этот вопрос, который мог возникнуть у многих читателей, отвечает глава «Спасская Полесть». Она состоит из трех, написанных в разное время как бы самостоятельных, а на самом деле неотделимых друг от друга частей, единство которых объясняет связь между «малыми и частными неустройствами» и государственной системой.

Первая часть имеет комедийный характер. Ночью на почтовой станции Путешественнник слышит разговор мелкого чиновника с женой, которой не спится.

«Жил-был где-то», — начинает приказный, — «государев наместник. В молодости своей таскался по чужим землям, выучился есть устерсы и был до них великий охотник. Пока деньжонок своих мало было, то он от охоты своей воздерживался, едал по десятку, и то, когда бывал в Петербурге. Как скоро полез в чины, то и число устерсов на столе стало прибавляться. А как попал в наместники и когда много стало у него денег своих, много и казенных в распоряжении, тогда стал он к устерсам как брюхатая баба...».

И посылает «унизанный орденами» курьера за тридевять земель с «важными донесениями. Все знают, что курьер поскачет за устерсами, но куда ни вертись, а прогоны выдавай. На казенные денешки дыр много». Прибывает гонец к «господину Корзинкину, почтенному лавошнику, в С.-Петербурге, в Большой Морской». Удивляется купец: «Куды какой его высокопревосходительство затейник, из-за тысячи верст шлет за какой дрянью». Заламывает непомерную цену. Бочка устриц укладывается в кибитку. Поворотя оглобли, торопится курьер, опять скачет, успев лишь забежать в кабак да выпить сивухи. А на месте за усердие, «за многочисленные его в посылках труды» получает курьер повышение в чине и награды. «Книга казначейская пошла на ревизию, но устерсами не пахнет».

Адрес купца Андрея Корзинкина указан точно. Торговал он вблизи Синего моста через Мойку, а потом в собственном доме на той же Большой Морской (ныне ул. Герцена). Образ наместника завуалирован. Капризами он похож на светлейшего князя Г. А. Потемкина, но тот смолоду «по чужим землям» не таскался и любил не столько устрицы, сколько кислую капусту. Да и какая разница, идет ли речь о нем или Т. И. Тутолмине, Я. Е. Сиверсе, М. Н. Кречетникове, если разделенная на губернии Россия была отдана в руки 12—15 наместников, генерал-губернаторов, полнейших властелинов трех-четырех губерний. Внешне смешная история была острейшей сатирой и повествовала о горькой правде — неограниченности произвола и казнокрадства в среде крупнейших вельмож.

Пример начальника ободряет подчиненных. В темных делах замешан, по словам того же приказного, губернский казначей. «Когда бы я с ним был заодно, то было бы не житье,

а масленица», — сетует рассказчик. «И... полно, Клементьич, пустяки-то молоть. Знаешь ли, за что он тебя не любит? За то, что ты промен берешь со всех, а с ним не делишься», — останавливает ретивого обличителя жена.

«Потише, Кузьминична, потише», — пугается приказный, умудрявшийся и на маленькой должности обворовывать государство. Медные и бумажные деньги ценились в 1780-е годы дешевле серебряных и золотых. При обмене полагалась приплата (промен, лаж), которая должна была идти в казну, но, как видно из слов Кузьминичны, ее муженек большую часть припрятывал в свой карман.

Разговор приказного с женой показывает, каким недюжинным сатирическим даром обладал Радищев, как легко и просто умел он писать, как блистательно знал народный язык.

Над чиновниками можно смеяться, но плохо честным людям там, где благоденствуют плуты разных масштабов. За комедией следует драматический рассказ встреченного Путешественником человека, честь и семью которого убили жулики, устаревшие законы и бездушные исполнители их. Как показали новейшие исследования, прототипом несчастного послужил давнишний знакомый Радищева секретарь таможни Степан Андреев. Андреев действительно поручился за гдовского откупщика Матвея Дружинина, который оказался жуликом и, обанкротившись, бежал. С поручителя потребовали весь долг, описав имущество, приобретенное им позднее, и даже то, что принадлежало его матери. На грубейшее нарушение судопроизводства кто-то (скорее всего Радищев) обратил внимание вышестоящих инстанций. От судьи потребовали объяснений, началось новое дело. После волокиты судья отделался десятью рублями штрафа, а против Андреева было состряпано новое обвинение — уже в убийстве. Судили его — несмотря на отсутствие серьезных улик — быстро и более чем сурово. Безуспешной оказалась и апелляция, предпринятая, вероятно, Радищевым [1].

Писатель по-своему сгруппировал факты и, не раскрыв имени «несчастного», рассказал о нем как примере узаконенного неправосудия. Уже после поручительства «несчастный»

---

[1] Факты, обнаруженные и опубликованные А. Г. Татаринцевым («Реальность и вымысел в «Путешествии из Петербурга в Москву». — «Филологические науки», 1971, № 4, стр. 14—26), дополнены здесь по еще одному «делу», хранящемуся в Ленинградском государственном историческом архиве.

получил следующий чин и стал дворянином, а его обвиняют в незаконном присвоении звания. С него потребовали не часть, а весь долг и обвинили в незаконной продаже дома, хотя дом был куплен и продан уже после того, как владелец получил звание дворянина, и т. д.

«Возможно ли, говорил я сам себе, чтобы в толь мягкосердое правление, каково ныне у нас, толикие производилися жестокости?» Этот вопрос, в котором повторена терминология манифестов Екатерины II, постоянно говорившей о своем мягкосердечии и милосердии, помогает обнаружить иллюзорность надежд на самодержца, даже если он мягкосердечен и искренне хочет быть беспристрастным. И нет ничего более ошибочного, чем взгляд на последующий за вопросом «сон» Путешественника как на отражение либеральных иллюзий Радищева.

В «сне» — третьей части главы — материализуется эпиграф из «Тилемахиды». Вначале монарх предстает в зеркале лести. Лавровый венец, победоносный меч, скипетр, лежащий на тучных снопах, символ правосудия — весы, на чашах которых лежат книги с надписью «Закон милосердия» и «Закон совести», — говорят о величии и справедливости царя. Обстановка в какой-то мере воспроизводит зал общего собрания Сената, а присутствие женщин напоминает о тронном зале Зимнего дворца, где происходили приемы.

Уже эта часть, овеянная жестокой иронией, высоко поднимается над уровнем сатиры XVIII века и предвосхищает памфлеты Салтыкова-Щедрина. Власть и величие государя прославляются не только «бездыханными изображениями», но и «робким подобострастием» ловящих взоры повелителя «чинов государственных», трепетным молчанием представителей различных народностей, готовностью дам в блистательных одеждах предупредить любое желание монарха...

Царь зевнул — и на лицах окружающих появились скорбь и уныние, послышались вздохи, стоны. Тронутый сочувствием монарх чихнул, губы растянулись в подобии улыбки — и развеялся вид печали на лицах, «радость проникла сердца». Послышались восклицания: «Да здравствует наш великий государь!» Отовсюду слышны похвалы монарху: он укрепил военное могущество страны, расширил торговлю, умножил государственные доходы, добился расцвета наук и искусств, «вольность дарует всем», избавил от смерти тысячи еще не родившихся граждан. Все это произносится вполголоса, но так, чтобы монарх услышал, *кто* именно хвалит его.

В репликах придворных повторены отрывки льстивых од и панегириков. Лесть приятна, и монарх теряет способность отличить правду от лжи. Военное могущество России действительно было укреплено, но такие стихи, как «Челобитная крымских солдат», где говорилось о «Крыме проклятом», о несметном количестве «божков», о напрасной гибели, о голоде и холоде, не доходили до императрицы. Она читала оды Кострова, Николева, Державина о славных победах, о собственном всесилии:

Речет — бесплодные пустыни
Преобратятся в вертоград,
Градов прекрасные твердыни
От недр земных восстать спешат;
Воззрит в поля — и спеют класы...

Города строились. Как же не поверить, что от взгляда созревают колосья...

Согбенны старостью не стонут
И сироты в слезах не тонут...

При Екатерине действительно были организованы богадельни, но «призираемые» побирались, ибо на две с половиной копейки в день нельзя было прожить, а половина скудных средств к тому же раскрадывалась. Были и воспитательные дома, за организацию которых Екатерину славили почти все поэты. А генерал-прокурор князь А. А. Вяземский говорил почти так, как передает Радищев: «Несчастно рождаемые младенцы, нередко при самом на свет происхождении своем бедственно погубляемые, твоим человеколюбием из челюстей смерти исторгнуты».

Коль многих ты и коль несчастных
Исторгнула от бед ужасных,
От смертных челюстей спасла, —

вторил Е. Костров. А через несколько лет выяснилось, что из 40 600 детей, принятых в воспитательные дома, выжила $^1/_8$ — пять тысяч.

Слова «Он умножил государственные доходы» звучали особенно зло. В 1780-е годы Секретная комиссия для увеличения государственного дохода предложила повысить пóдать казенных крестьян, а затем пришла к выводу о необходимости дополнительного выпуска бумажных ассигнаций. В итоге государственные долги к концу царствования Екатерины II достигли 215 миллионов рублей. Радищев знал о положении

вещей, ибо А. Р. Воронцов, член Секретной комиссии, привлекал его к работе. В свете этого восклицания о повышении дохода («народ облегчил от податей») звучали горькой насмешкой.

«Вольность дарует всем», «Закон равен для всех». Эти похвалы повторяли утверждения самой императрицы. Только тот, кто прочел «Любани», уже знал, всем ли дарована вольность, а насколько «закон равен для всех», показано и в той же «Любани» и в рассказе несчастного купца-дворянина.

Но монарх верит похвалам, возрастает в своих глазах, убеждается в собственной непогрешимости и отдает новые приказания. Он посылает «первого военачальника» на завоевание новых земель, отправляет флотоводцев в неведомые страны, повелевает строить новые здания, покровительствует наукам и искусствам, поощряет торговлю, заботится о бедных, велит выпустить на волю заключенных.

В целом все это создает такой образ просвещенного монарха, каким он виделся просветителям. Исключение составляет, пожалуй, лишь подчеркнуто завоевательная политика. Ирония вносится атмосферой лести, чрезмерно нежными взглядами женщин, готовых «на предупреждение желаний», упоением государя властью и его умилением собственными добродетелями. Ирония усугубляется, когда царь раздает награды. «Отсутствующие забыты не были, но те, кои приятным видом словам моим шли во сретение (то есть навстречу. — *Л. К.*), имели большую во благодеяниях моих долю». Непосредственная близость, «приятный вид», готовность исполнить желания повелителя — легчайший способ получить награды.

Все это лишь тени, которые не затмевают славы и благодеяний царя — солнца, но тени. Не заметить их было невозможно, ибо все эти качества характерны для Екатерины II.

Когда Истина снимает бельма с глаз монарха, он видит себя и окружающих такими, каковы они есть: «Одежды мои, столь блестящие, казалися замараны кровью и омочены слезами. На перстах моих виделися мне остатки мозга человеческого; ноги мои стояли в тине».

Нет в XVIII веке писателя, который осмелился бы создать такой натуралистический и страшный образ.

«Вокруг меня стоящие являлися того скареднее. Вся внутренность их казалась черною и сгораемою тусклым огнем ненасытности. Они метали на меня и друг на друга искаженные взоры, в коих господствовали хищность, зависть, ковар-

ство и ненависть. Военачальник мой, посланный на завоевание, утопал в роскоши и веселии. В войсках подчиненности не было; воины мои почиталися хуже скота... Казна, определенная на содержание всеополчения, была в руках учредителя веселостей. Знаки военного достоинства не храбрости были уделом, но подлого раболепия».

Екатерина правильно разглядела в авторе «Путешествия» «врага властей и власти», то есть самодержавия вообще и своего лично. Трудно было в военачальнике не узнать Потемкина, который отправился на войну со штатом поваров, музыкантов и любовниц. Нельзя было не узнать и Екатерину II. Радищев говорит о ее завоевательных планах, самовлюбленности, уверенности в умении угадывать характеры людей, сластолюбии. Он осмеивает либеральную фразеологию и то, чем она особенно гордилась: внешнее мягкосердие, декларированное во множестве манифестов. Он показывает, чем обернулась организация воспитательных домов и богаделен, прощение «впадших в преступление» — все те «человечные» черты, которые так старательно подчеркивались государыней с первых дней царствования.

«Вместо того, чтобы в народе моем чрез отпущение вины прослыть милосердым, я прослыл обманщиком, ханжею и пагубным комедиантом». В свете таких слов иное содержание приобретала первая часть. Екатерина узнала себя и не могла не рассердиться. Умная государыня прощала писателям тираноборческие тирады, ибо не принимала их на свой счет. Так, московский главнокомандующий Я. А. Брюс запретил трагедию Н. П. Николева «Сорена и Замир», в которой провозглашалось:

Тирана истребить есть долг, не злодеянье...
и
Исчезни навсегда сей пагубный устав,
Который заключен в одной монаршей воле...

Императрица прочитала трагедию и написала Брюсу: «Смысл таких стихов не имеет никакого отношения к вашей государыне: автор восстает против самовластия тиранов, а Екатерину вы называете матерью».

Но в 1793 г., прочтя трагедию Я. Б. Княжнина «Вадим Новгородский», где республиканец Вадим именует тираном добродетельного князя Рюрика и выступает против него, истинного «отца народа», которого народ на коленях умоляет не отказываться от престола, Екатерина спросила дирек-

тора Академии наук княгиню Е. Р. Дашкову: «Что я вам сделала, что вы распространяете против меня и моей власти такие опасные правила?» Так как автор уже был в могиле, судили трагедию. По приговору Сената и указу императрицы, трагедию, наполненную «дерзкими и зловредными противу законной власти выражениями», публично сожгли на Александровской площади.

В «Путешествии» же речь шла о ней, Екатерине II, монархе, вроде бы желающем творить добро, а на деле творящем зло, ибо, как доказано Радищевым, ничего, кроме зла, единоличная власть принести не может. Прозревший монарх видит, что знаки почести доставались недостойным, зовет на помощь мудрого старца, живущего в уединении, «в заросшей мхом хижине». Прояснившееся сознание заставляет его ужаснуться широты обязанностей. «Вострепетал во внутренности моей убоялся служения моего», и... Путешественник проснулся.

И не мог не проснуться, ибо далее должно было бы быть представлено царствование идеального монарха, а «Спасская Полесть» разбивает веру в возможность появления государя, единоличное правление которого отвечало бы возложенным на него обязанностям. Радищев спорит с Н. И. Новиковым и Д. И. Фонвизиным, возлагавшими надежды на Павла I, опровергает мнение Руссо и Монтескье, полагавших, что в странах с большой территорией возможно лишь самодержавное правление, а заодно с ними и «Наказ» Екатерины II, где развивалась та же мысль.

«Сон» Путешественника — своего рода кульминация. Дальнейшие главы показывают пагубное влияние самодержавия на все области жизни и углубляют тему нарастающего протеста. Ее кульминацией станет ода «Вольность».

Трагический накал «Спасской Полести» разряжается в первых строках «Подберезья» насмешкой над самим собой («голова моя... хуже болвана»), воспоминаниями о няне, любительнице кофе. Встреченный на почтовом дворе семинарист говорит о недостатках образования в России. Широким массам образование недоступно, а те, кто проходит через учебные заведения, получают знания, неприменимые в жизни. В семинариях царствуют Аристотель и средневековая схоластика. Во многих учебных заведениях преподавание ведется на иностранных языках. Учащиеся занимаются чем угодно, кроме того, что нужно для укрепления законности, без которой невозможно улучшение жизни народа.

В образе семинариста в какой-то степени отразились искания Ф. В. Кречетова, который в 1793 г. стал узником Петропавловской, а затем Шлиссельбургской крепости. Именно он выдвигал идею обучения всего населения грамоте и юриспруденции и с целью распространения своих мыслей организовал «Всенародно-вольно к благодействованию общество», в которое вошло около сорока лиц разных сословий, мужчин и женщин. Ища единомышленников, Кречетов разговаривал со многими людьми и едва ли миновал Радищева: они служили в 1773—1775 гг. в Финляндской дивизии, имели общих знакомых, встречались в книжных лавках. Подчеркнутый писателем «неробкий взгляд» семинариста, его страстная тяга к знанию, книги из библиотеки какого-то знакомого как основной источник образования (Кречетов служил библиотекарем у князя П. Н. Трубецкого, имевшего прекрасное собрание редких книг и рукописей), рассуждения о необходимости перестройки системы образования, интерес к книге английского юриста Блэкстона, мысль о необходимости юридических знаний для всех, путаница во взглядах, сложность языка — черты, характерные для Кречетова. Правда, он не был членом масонской ложи, но он пытался создать «открытое масонство», что можно толковать как угодно. Да Радищев и создавал художественный образ, а не точный портрет и слил воедино черты религиозного правдоискателя с правдоискателями-масонами.

Книгоиздательская деятельность масонов, их связь с Московским университетом, организация двух училищ «для бедных» в Петербурге, оппозиционность по отношению к правительству привлекали многих. Но Радищев наотрез отказывался признать собственно масонское учение: «Я лучше ночь просижу с пригоженькою девочкою и усну, упоенный сладострастием, в объятиях ее, нежели, зарывшись в еврейские или арабские буквы и цыфири, или египетские иероглифы, потщуся отделить дух мой от тела и рыскать в пространных полях бредоумствований...»

Показывая далее, что масонство является прямой реакцией на просветительскую философию, писатель заканчивает главу злой комической пародией, осмеивающей масонскую обрядность и сложные разглагольствования по любому поводу.

Самодержавие держит народ в невежестве. Более того — оно все мертвит и унижает. Путешественник подъезжает к Новгороду и вспоминает былую славу старинного города.

Когда-то его территория распространялась более чем на пятнадцать верст. Когда-то из крепостных стен выходило войско в сто тысяч человек. Летопись гласит о славных делах новгородцев, о том, что они вели международную торговлю, устанавливали свои законы, запретили у себя обращение монеты, введенной татарами, и чеканили свои деньги. Убежденность в могуществе звучала в гордых словах: «Кто может стать против бога и великого Новгорода». Все это было во времена новгородской вольности, когда народ в собрании своем на вече был истинный государь. Стоило московскому князю Ивану III подчинить Новгород самодержавной власти, уничтожить колокол, «по звону которого народ собирался на вече для рассуждения о вещах общественных», как жизнь замерла. «В 1500 году — в 1600 году — в 1700 году— году — году Новгород стоял на прежнем месте», — продолжает та же сочиненная автором «Путешествия» летопись.

Радищев, как и Княжнин в «Вадиме Новгородском», а позднее и декабристы, преувеличивал свободу новгородцев: власть в Новгороде принадлежала не народу, а боярам и богатым купцам. Но писателю-революционеру было важно подчеркнуть созидательную силу вольных вечевых собраний, которые он находил и в Киевской Руси. Отголоском вече он считал набат, созывающий крестьян в случае беды, и сельские сходы, о чем писал уже в ссылке в «Кратком повествовании о приобретении Сибири» (2, 145).

Радищев связывает величие Новгорода с вольностью, упадок — с мертвящим воздействием самодержавия. Город поблек, но о былом напоминают хоть стены Кремля. Ничего общего нет между мужественными новгородцами и купеческой семейкой, встреченной Путешественником.

«Карп Дементьич — седая борода в восемь вершков от нижней губы. Нос кляпом, глаза ввалились[1], брови как смоль, кланяется об руку, бороду гладит, всех величает: «Благодетель мой». Внешне приветлив оборотистый жулик. Мелкий купчишка нажил капитал в пятьдесят тысяч, благодаря чему стал именитым гражданином и получил право следовать в образе жизни дворянам. Чтобы увеличить состояние, он переписал имение на жену, себя объявил банкротом и выплатил заимодавцам пятнадцать копеек за рубль. Так

---

[1] В списках — «глаза серые». Видимо, определение цвета глаз выпало при наборе книги.

поступали и петербургские купцы. Об аналогичной истории, но менее удачной для инициатора, рассказал уже в середине XIX века А. Н. Островский в комедии «Свои люди — сочтемся».

Под стать Карпу Дементьичу сын. «Ни уса ни бороды, а нос уже багровый; бровями моргает, в кружок острижен, кланяется гусем, отряхая голову и поправляя волосы. В Петербурге был сидельцем. На аршин когда меряет, то спускает на вершок; за то его отец любит как сам себя. На пятнадцатом году матери дал оплеуху».

Перед нами первые реалистические портреты в русской литературе. До этого писатели наделяли положительных персонажей чертами соответственно собственному представлению о красоте, нимало не заботясь об индивидуальной выразительности, о различии. Так, у героинь романов Ф. А. Эмина всегда длинные черные волосы, тело «подобно алебастру», черные очи. В романах М. М. Хераскова девы имеют «льну подобные белые власы», простирающиеся волнами по груди, цвет лица розе или «лилее подобный». Теми же словами писатель говорит о своей жене и благообразном старце: «Брада его по персям, подобно белому льну, простиралася».

Как невозможно представить себе портрет, характерный для положительных персонажей любого пола и возраста, так трудно увидеть живого человека по сатирическому портрету М. Д. Чулкова: «...лицо ее было самой древней печати и худого тиснения; нос ее представлял кривую ижицу, борода и губы казались как будто старинный юс на драгунской шляпе; на лбу и на щеках расставлены были кавыки весьма беспорядочно...»

На фоне этих условных, непохожих на живые лица описаний портреты Карпа Дементьича и его сына были подлинным открытием. Особенно значительно умение схватить мимику, движения, рисующие характер: «бровями моргает», «кланяется гусем» и т. д.

В «Спасской Полести», «Завидове» и других главах Радищев показывал черное нутро, подлость и ничтожество «персон», сильных своим положением, мундиром, чином. Обнажает он и неприглядный лик купцов: под добродушной личиной Карпа Дементьича таится хищник. Таким же станет и его сын. За показной патриархальностью кроется растление. Скромны купеческие жены: кольцом сжимает губки Аксинья Парфентьевна; потупя глаза, сидит в компании ее невестка. Показное «благолепие» купеческого быта разрушается не-

сколькими репликами автора. Новобрачная «во весь день от окошка не отходит и пялит глаза на всякого постороннего мущину. Под вечерок стоит у калитки. — Глаз один подбит. Подарок ее любезного муженька для первого дни; — а у кого догадка есть, тот знает за что». И мать семейства, «бела и румяна» в шестьдесят лет, при гостях выпьет полчарки вина, «да в чулане стаканчик водки». Мимоходом сказанное и не комментированное: «приказчики мужчины — Аксиньины камердинеры» — предвосхищает гоголевский юмор: «Детей у него не было. У Гапки есть дети и бегают часто по двору» («Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»).

За сатирической сценой, за характерами, предвещающими персонажей Гоголя и А. Н. Островского, следуют размышления Путешественника о вексельном праве. Писатель-юрист, не раз выступавший в суде при разборе дел купцов, напоминает, что за благоденствием жуликов стоит горе кредиторов, разорение, а порою и гибель честных людей. Новгородская семейка уже не кажется смешной: немногим отличается Карп Дементьич от гдовского откупщика, который погубил «несчастного», встреченного в «Спасской Полести» (сегодня мы знаем, что речь идет о Матвее Дружинине и Степане Андрееве). А кто виноват в путанице законов, помогающей мошенникам губить честных людей? «Я начал опять думать, прежняя система пошла к черту, и я лег спать с пустою головою»,— иронизирует Путешественник. А Радищев ответил на главный вопрос в «Спасской Полести». Благоденствие Карпа Дементьича и ему подобных порождено самодержавно-крепостнической системой, с которой они отлично уживаются. Алексей Карпович в отличие от отца уже сегодня не сгибает спины, а «кланяется гусем». Завтра, глядишь, и дворянином будет. Дети его породнятся с разоряющейся знатью; может быть, подобно петербургским купцам Кусовым, баронами станут.

Дорожные впечатления навевают разные мысли. На месте Бронниц был, по преданию, город Холмоград; на одном из холмов стоял храм, где волхвы предсказывали будущее, и северные короли приезжали издалека, чтобы предугадать судьбу. Подойдя к небольшой церкви, стоящей на месте храма, Путешественник думает о равноправии разных религий, о суетной гордыне людей и вечной жизни, развивает деистическую концепцию, обоснованную в «Слове о Ломоносове». Бесполезно надеяться на вмешательство бога в судьбы людей или гадать о будущем: «Премудрость моя все нужное наса-

дила в разуме и твоем сердце», — слышит Путешественник. Это значит, что человек способен противиться заблуждениям. Сами люди могут и должны быть творцами разумной жизни. Так то, что кажется случайным дорожным размышлением, подкрепляет важнейшее положение книги.

Народ входит на первые страницы «Путешествия». Но посвященные ему главы чередуются с теми, в которых представлены чиновники, купцы, двор. Это позволяет яснее представить органическую связь крепостнического произвола с государственной системой и оставляет главную тему все время в поле внимания читателя.

Страшную в своей обыденности историю рассказывает встреченный в Зайцове приятель Путешественника судья Крестьянкин, один из тех, кто пытается «противиться заблуждению». Много лет жестокий помещик и его семья истязали крестьян. Когда же выведенные из терпения крепостные убили изверга и его сыновей, закон оказался на страже: несмотря на заступничество Крестьянкина, несчастных приговорили к смерти, замененной «торговой казнью» (публичное битье кнутом на площади с последующим вырезанием ноздрей и клеймением) и «вечной работой» (пожизненной каторгой).

Конкретный пример подтверждает справедливость тезисов, высказанных в «Любани»: «Крестьянин в законе мертв» и «Страшись, помещик жестокосердый, на челе каждого из твоих крестьян вижу твое осуждение». Доказана и справедливость размышлений о национальном характере: «Если что-либо случится не по нем, то скоро начинает спор или битву». Радищев не раз повторяет важнейшие мысли — такова особенность книги.

В предшествующих главах показана взаимосвязь между «малыми и частными неустройствами» и самодержавием в целом, в «Зайцове» чиновничье-бюрократический аппарат предстает в своей основной узаконенной функции защитника крепостничества. Невиновность убийц математически ясна для честного судьи: человек вправе защищаться от разбойника; крестьян, защищавших честь девушки и свою жизнь, не до́лжно судить как убийц.

Доводы Крестьянкина рассматривались другими судьями как поощрение убийства, нарушение общественного спокойствия. Если не повинующихся господину не наказывать, то «будет паки хаос в начальных обществах обитающий. Земледелие умрет, орудия его сокрушатся, нива запустеет..; поселяне, не имея над собою власти, скитаться будут

в лености, тунеядстве и разидутся». Рушатся города, иссякнет торговля, воцарится беззаконие. «Тогда огромное сложение общества начнет валиться на части... И общество узрит свою кончину».

Крестьянкин называет эту картину «адскою». Но нечто похожее, только с противоположных позиций, рисуется в оде «Вольность». Да, когда «закона твердь шатнется», будет хаос, но затем —

Из недр развалины огромной,
Среди огней, кровавых рек...
Возникнут малые светила;
Незыблемы свои кормила
Украсят дружества венцем,
На пользу всех ладью направят.
И волка хищного задавят,
Что чтил слепец своим отцем

Радищев не боится, что современное ему общество «узрит свою кончину», ибо благоденствуют нравственные уроды и насильники, а люди страдают. Портретных зарисовок зайцовских помещиков нет: «Заставлю вещать их деяния, кои всегда есть истинные черты душевного образования», — передает Крестьянкин мысль писателя, убежденного, что нравственный облик человека раскрывается в поступках. Не случайно, однако, упоминается здесь имя английского художника Хогарта, создателя полных драматизма сатирических гравюр.

На лучшие традиции русской и европейской сатиры опирается Радищев, рассказывая биографию зайцовского помещика. Можно представить себе, сколько подлостей совершил он, пока прополз путь от придворного истопника до чина коллежского асессора, сколько жульничал (а он пятнадцать лет был при дворе мундшенком, то есть ведал напитками), копя деньги на покупку имения. Добившись своего, он почувствовал себя властелином, заставлял крестьян всю неделю работать на себя, кормил их раз в сутки, укрывал тех, кто в поисках пропитания грабил проезжих, по сек батогами и розгами, заковывал в кандалы тех, в ком усматривал леность или дерзость.

Сыновья «помогали» отцу и, убежденные в безнаказанности (они уже родились дворянами), насиловали крестьянок. Дочери увечили прядильщиц. В других редакциях сказано сильнее: «Многим глаза повыкололи». Радищев заменил эту страшную строку, ибо выкалывание глаз выходило за пре-

делы ненаказуемых истязаний, а семья коллежского асессора тем и страшна, что она неподсудна и типична. Крестьянин в законе мертв. «Закон запрещает отъяти у него жизнь. — Но разве мгновенно. Сколько способов отъяти ее у него постепенно». Писатель и отдает на суд систему, которая допускает ежедневное и ненаказуемое убийство.

Поняв невозможность добиться справедливости, Крестьянкин выходит в отставку и уезжает «оплакивать плачевную судьбу крестьянского состояния». Удовлетворит ли его такая жизнь, будет ли он спокоен, читая книги и беседуя с друзьями? Кто знает...

Прощанием Крестьянкина с Путешественником глава и заканчивалась. При переработке Радищев включил сценку, разряжающую напряжение. Случайно встреченный знакомый передает Путешественнику письмо, где сообщается о предполагаемом браке шестидесятидвухлетней госпожи Ш. с семидесятивосьмилетним бароном Дурындиным. Бывшая красотка, позднее сводня заскучала на старости лет и рассказывает о своих намерениях подруге. Рассказывает так, что мы слышим ее голос, видим ее достойного жениха, зрительно ощутимо представляем его руки, трясущиеся над дорогим портсигаром, и разочарованную мину, когда он узнает, что продешевил титул. Невеста-то расчетливая...

Не исключено, что сатирическая сценка содержала ядовитые злободневные намеки. Перед встречей с приятелем Путешественник вспоминает дачу «Ба-ба». Она принадлежала вельможе А. А. Нарышкину, который был выведен под именем Дурындина в пьеске Екатерины II «За мухой с обухом». Жена его — статс-дама, поверенная личных тайн императрицы А. Н. Нарышкина — свела в 1789 г. Екатерину II с новым фаворитом П. А. Зубовым. Так что от прямой и грубоватой сатиры «на личность» спасал только факт давнего супружества. Но зачем «личность»? Дурындиных много. Без них «свет не простоял бы трех дней».

Прямо или косвенно тема семьи и воспитания проходит красной нитью через «Путешествие». В разных аспектах предстают крестьянские семьи. Лжива и безнравственна семейка новгородских купцов. Трудно сказать, кто гаже — родители или дети в семье коллежского асессора. Брезгливое чувство вызывают готовящиеся к купле-продаже престарелые барон Дурындин и его многоопытная невеста. Много таких семеек встретит Путешественник, а вместе с ним и мы.

Внимание Радищева к семье как первой ячейке гражданского общества и вопросам воспитания обусловлено временем. «Воспитание может все». «Люди таковы, какими их делает воспитание» — таковы основополагающие тезисы XVIII века, века Просвещения. Различным было понятие слова «воспитание» и определение условий, воспитывающих человека. Еще в конце XVII столетия английский философ Д. Локк отверг созданную Р. Декартом теорию «врожденных идей», будто бы свойственных человеку от рождения, и доказал, что человек формируется под влиянием воздействий внешнего мира. Соответственно Локк полагал, что воспитывать ребенка надо с момента рождения; воспитателями являются люди, окружающие дитя; средство воспитания — пример, а не наказания, не розга, которые широко применялись. В России идеи Локка превосходно изложил и развил А. Д. Кантемир в седьмой сатире («О воспитании»).

Ж.-Ж. Руссо предлагал воспитывать детей в «естественном состоянии», изолируя их от общества, построенного на сословном и имущественном неравенстве.

Другой великий французский философ, К. А. Гельвеций, считал, что серьезные изменения в области воспитания возможны лишь после уничтожения деспотизма. Люди от природы равны, а деспотизм калечит их умы и души. Там, где «из тины рабства извлекают раба, чтобы повелевать другими рабами», никто не одушевлен любовью к общественному благу. Там, «где преступления награждаются, а добродетель наказывается, была бы безумной мысль воспитания талантливых и добродетельных людей».

В «Житии Ф. В. Ушакова» Радищев рассказал, что в годы учения в Лейпцигском университете он и его товарищи по книге Гельвеция «Об уме» «мыслить научалися». Влияние идей Гельвеция сказывается во многих главах «Путешествия». Много мы видим семей, где воспитываются рабы, умеющие повелевать другими рабами. Исключение представляет глава «Крестьцы».

Провожает сыновей на службу отец, любящий детей не животной, а подлинно человеческой любовью. Его напутственная речь во многом не утеряла ценности и поныне. Это заметил крупнейший деятель Советского государства М. И. Калинин: «Мысли Радищева о воспитании и по сей день могут считаться прогрессивными»[1]. И дело не только в том, что

[1] М. И. Калинин. О воспитании и образовании. Избранные статьи и речи. М., Учпедгиз, 1957, стр. 106.

юноши всесторонне образованы, что наряду с знанием языков, музыки, живописи они умеют пахать, сеять, доить корову, готовить пищу, а в том, что они уважают труд и тех, кто трудится, видят в человеке человека, независимо от его общественного положения.

Мораль крестицкого дворянина — подлинно революционная мораль, хотя исследователей порою смущают слова: «Мщение!.. душа ваша мерзит его» и совет соблюдать законы. Но Радищев всегда и везде отрицает мелкую личную мстительность. Он признает лишь осмысленное «человеколюбивое мщение», то есть возмездие за поступки, приносящие вред обществу: казнь монарха-тирана, наказание помещика, мучителя крестьян.

Совет подчиняться закону — «Закон, каков ни худ, есть связь общества» — нельзя изолировать от следующего за ним указания, что закон выше воли монарха: «И если бы сам государь велел тебе нарушить закон, не повинуйся ему, ибо он заблуждает себе и обществу во вред. Да уничтожит закон, яко же нарушение оного повелевает, тогда повинуйся, ибо в России государь есть источник законов».

Екатерина II могла согласиться с тем, что в России «государь есть источник законов». Но то, о чем говорится далее, шло вразрез со всеми существующими положениями о подчиненности.

Нельзя повиноваться даже закону, если он неправеден: «Но если бы закон или государь, или бы какая-либо на земли власть, подвизала тебя на неправду и нарушение добродетели, пребудь в оной неколебим. Не бойся ни осмеяния, ни мучения, ни болезни, ни заточения, ниже́ самой смерти. Пребудь незыблем в душе твоей, яко камень среди бунтующих, но немощных валов. Ярость мучителей твоих раздробится о твердь твою; и если предадут тебя смерти, осмеяны будут, а ты поживешь на памяти благородных душ до скончания веков. Убойся заранее именовать благоразумием слабость в деяниях, сего первого добродетели врага».

Это мораль, оправдывающая неповиновение Крестьянкина. Более того — это мораль революционера и отголоски раздумий самого Радищева накануне издания книги, за которую его приговорили к смертной казни. Воистину «человеколюбивую твердость души» надо было иметь, чтобы сознательно идти на подвиг.

Поняв автобиографизм и трагичность героического призыва, можно уяснить суть «частных добродетелей», о которых

идет речь дальше. Крестицкий дворянин, как и создавший его образ писатель, не ханжа. Он способен понять склонность молодых людей к щегольству, увлечение женщинами и многое другое. Не прощает он коварства, мстительности, вероломства, подобострастия перед сильными, надменности и зверского отношения к слабым. Он делит добродетели на «частные и общественные». К первым относятся мягкосердечие, кротость, соболезнование страждущему и готовность помочь ему. Эти добродетели воспитываются с детства и ими наделены все положительные персонажи книги, в том числе и незримо присутствующий А. М. Кутузов. Это ясно и из Посвящения и из обращений к другу-сочувственнику в тексте.

Частные добродетели — основа более высоких общественных добродетелей: мужества, героизма и т. п. Однако и здесь есть градации: вечной славы достоин воинский подвиг, но выше его то, что не приносит наград, — противодействие силе, власти. Именно здесь нужна «человеколюбивая твердость души». Содержание понятия раскрывается и в предшествующем призыве бороться за правду, хотя бы борьба грозила смертью, и в заключительных словах напутствия. Отец, отдавший детям сердце, ум, знания, любовь, конечно же желает им счастья, но, понимая, что исполнение «общественных добродетелей» совсем не безопасно, вновь говорит о мужестве и смерти, на этот раз о возможной смерти от собственной руки: «Если ненавистное счастие истощит над тобою все стрелы свои, если добродетели твоей убежища на земли не останется, если доведенну до крайности, не будет тебе покрова от угнетения, тогда воспомни, что ты человек... Умри».

Как бы мы ни относились к самоубийству, мы не можем не почувствовать силы и горечи этих слов, подтвержденных трагической гибелью Радищева. И читая их, нельзя забывать, что литература и философия эпохи Просвещения рассматривали самоубийство как форму протеста против тирании.

> В венце, могущий все у ног твоих ты зреть, —
> Что ты против того, кто смеет умереть? —

спрашивал победителя непреклонный республиканец Вадим в трагедии Я. Б. Княжнина «Вадим Новгородский», о судьбе которой мы говорили выше.

Первый русский критик-марксист Г. В. Плеханов уловил сходство и преемственность суровой морали крестицкого дворянина и Рахметова, героя романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?» Плеханов заметил также: «Радищев

явился у нас первым в ряду тех передовых учителей жизни, между которыми такое видное место заняли потом Чернышевский и Добролюбов»[1].

Многие высказывания персонажей «Путешествия» трудно отделить от мыслей автора. Да и нужно ли? Мера сочувствия, отрицания, отношения к созданным писателем образам почти всегда ясна. Это отлично поняла внимательная читательница книги Екатерина II. Она комментировала каждую главу, и «Крестьцы» попали в число наиболее криминальных. Прощальные слова крестицкого дворянина «служат к разрушению союзу между родителей и чад и совсем противны закону божию, десяти заповедям, святому писанию, православию и христианскому закону», — пишет «философ на троне», стараясь навлечь на Радищева гнев церкви. Понять состояние императрицы можно.

В 1782 г. вышел в свет «Устав Благочиния или Полицейской». Екатерина II была автором вступительной части устава — «Наказа», содержащего «правила добронравия», «правила обязательств общественных» и другие, которые должны были служить «зерцалом Управы Благочиния в рассуждении обязанностей граждан между собою».

«Зерцалом» в XVIII в. назывались и обычное зеркало и эмблема законности — трехгранная призма, стоявшая в судах и учреждениях. На каждой стороне призмы были наклеены печатные экземпляры петровских указов: о строгом соблюдении законов, важности знания их чиновниками, о поведении в судебных местах.

Радищев использует слово в обоих значениях. Он напоминает о двух зеркалах в эпиграфе, освещает методом наведения двух зеркал (Лести и Истины) двор, императрицу, показывает скрывающиеся за блеском одежд черные души внешне благообразных купцов. Одновременно он иронически комментирует «зерцало» Управы Благочиния.

Глава «Любани» с ее гневной концовкой иллюстрировала третий параграф «Наказа»: «Буде кто ближнему сотворил обиду личную или в имении, или в добром звании да удовлетворит по возможности». Возникал вопрос, что было бы, если бы лакей потребовал удовлетворения личной обиды, а любанский пахарь и сотни тысяч подобных ему предъявили претензии на «обиду в имении»? XIII пункт «Наказа» обещал «правый и равный суд всякому состоянию». Рассказ Кре-

---

[1] Г. В. Плеханов. Сочинения, т. XXII. М.—Л., 1925, стр. 353.

стьянкина в «Зайцове» показывал, насколько «равным и правым» был суд.

Случай с Ч. в Систербеке являлся ярким примером «соблюдения» § 5: «Сжалься над утопающим, протяни руку падающему». Устав предписывал «дать покровительство невинному и скорбящему». А как может Путешественник помочь несчастному, встреченному в «Спасской Полести»? Устав обещал карать взяточников, а «Спасская Полесть» и «Зайцово» говорят, что наказывать пришлось бы почти всех чиновников, начиная от ближайших советников монарха.

Мы не знаем, что думала вдова Петра III, подписывая завет: «Жена да пребывает в любви, почтении и послушании к своему мужу», но Радищев показал подготовку к браку госпожи Ш., «нравственность» дворянок в «Едрове», купчих — в «Новгороде».

При помощи зеркала Истины Радищев вскрыл ложь, ханжество, лицемерие «зерцала» Управы Благочиния. Высказал писатель свое отношение и к пунктам, которые неукоснительно соблюдались.

«Управа Благочиния мир и тишину православныя святыя церкви охраняет», — гласил § 57. Радищев в оде «Вольность» сохранил конструкцию фразы и объяснил смысл этой охраны:

Власть царска веру охраняет,
Власть царску вера утверждает:
Союзно общество гнетут.

«Родители суть властелины над своими детьми», «Дети долг имеют оказывать родителям чистосердечное почтение, послушание, покорность», — наставлял устав. «Изжените из мыслей ваших, что вы есте под властию моею. Вы мне ничем не обязаны. Не в рассудке, а меньше еще в законе хощу искати твердости союза нашего», — говорил крестицкий дворянин, убежденный, что нерушимой является лишь духовная близость отцов и детей. Именно в связи с этими и последующими словами Екатерина вспомнила о священном писании, заповедях, гражданском законе и пр. Здесь говорила уже не только составительница «Наказа Управе Благочиния», но императрица, боявшаяся соперничества сына, законного претендента на престол.

В отличие от Н. И. Новикова и Д. И. Фонвизина Радищев не возлагал никаких надежд на Павла I и имел в виду просто человеческие отношения, когда говорил устами крестицкого дворянина: «Если отец в сыне своем видит раба и власть

свою ищет в законоположении, если сын почитает отца наследия ради, то какое благо из того обществу? Или еще один невольник, или змия за пазухой». А Екатерина, видевшая в сыне именно змею за пазухой, злится: «Паки упоминается о ничтожестве власти родителей над детьми, что противно закону христианскому и гражданскому».

Императрица не зря сердилась: взгляды крестицкого дворянина противостоят господствующей морали, правилам Управы Благочиния, семьям, с которыми мы уже встречались. Исповедь невольного сыноубийцы в «Яжелбицах» возвращает к реальной действительности. Запоздалое раскаяние отца у могилы сына, полная драматизма исповедь Путешественника завершаются взрывом негодования против правительств и писателей, которые считают, что запрещение наемного разврата вызовет «сильные в обществе волнения»:

«И вы желаете лучше тишину и с нею томление и скорбь, нежели тревогу и с нею здравие и мужество. Молчите, скаредные учители, вы есте наемники мучительства; оно, проповедуя всегда мир и тишину, заключает засыпляемых лестию в оковы. Боится оно даже посторонния тревоги. Желало бы, чтоб везде одинако с ним мыслили, дабы надежно лелеяться в величестве и утопать в любострастии... Я не удивляюся глаголам вашим. Сродно рабам желати всех зрети в оковах. Одинаковая участь облегчает их жребий, а превосходство чье-либо тягчит их разум и дух».

Эти гневные слова выходят за пределы поставленной темы. И Екатерина II, с удовольствием писавшая об автобиографичности исповеди Путешественника («описывает следствия дурной болезни, которую сочинитель имел»), злобно подмечает «брани и ругательства на проповедующих всегда мир и тишину». Она верно поняла антиправительственный характер нападок на проповедь «мира и тишины». Мелькнувшая в первых манифестах Екатерины II официальная формула утвердилась после подавления крестьянской войны 1773—1775 гг. и неоднократно повторена в Уставе Управы Благочиния. Суровыми карами грозило правительство за «новизны», нарушение «мира и тишины». Радищев в «Вольности» назвал пресловутую «тишину» рабским покоем:

Покоя рабского под сенью
Плодов златых не возрастет.
Где все ума претит стремленью,
Великость там не прозябет.

В «Яжелбицах» он говорит иначе, но еще более гневно. К концовке «Яжелбиц» примыкает глава «Валдаи», в которой показано одно из тех мест, где узаконена «древнейшая профессия», но тон иной: полукомически рассказывается о жертвах, приносимых юношами и отцами семейств «всеобожаемой Ладе». От мужей, теряющих здоровье в объятиях валдайских сирен, немногим отличаются их жены, — говорит «Едрово».

«Едрово» раскрывает единство этического и эстетического идеала Радищева. Глава начинается встречей Путешественника с группой крестьянок. Их руки и лица не блещут белизной, подобной «лилее» или алебастру, обязательной для красавицы XVIII века, их обветренная кожа не напоминает об атласе, на них нет «покровов хитрости». Единственное украшение их платья — его сверкающая чистота. И все-таки девушки прекрасны. Их красота — отражение душевной чистоты и здоровья. Иное дело дворянки. Часть их искалечена уже в утробе матери либо вследствие беспутства отца, либо из-за кокетства маменьки, которая и во время беременности затягивалась в корсет.

Ложь, безнравственность, царящие в городе и дворянской усадьбе, уродуют и тело и душу девушек-дворянок. У них «на щеках румяна, на сердце румяна, на искренности... сажа. Все равно румяна или сажа». В угоду моде, ради того, чтобы поймать в свои сети богатого жениха или любовника, городские девушки и дамы румянятся, втискивают ноги в тесную обувь, уродуют тело корсетами. Естественность и красота в их представлении — противоположные понятия. Бездельники и бездельницы, живущие за счет крепостных, считают некрасивым все, на чем лежит отпечаток труда.

Изувеченным физически и нравственно городским красавицам противопоставлены крестьянские девушки. Правда, «зритель без очков», как назвал Радищева один из современников, не скрывает, что и среди крестьянок есть нравственно испорченные (портит близость к городу или дворянской усадьбе), но испорченность крестьянок — уклонение от нормы. А нормой физической и нравственной красоты является Анюта, одна из тех, «каковых в городах слыхом не слыхано и видом не видано». Анюта стыдливая, но не жеманная, суровая и нежная, трогательно признающаяся в желании родить «своего паренька», честная, благородная, беззаветная в любви, веселье и труде.

Говоря об Анюте, Радищев предвосхищает некрасовский образ русской крестьянки, той, что —

Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет, —

и, подобно Некрасову, не хочет представить ее редкой жар-птицей. Типичность внешнего облика Анюты подчеркнута общим портретом девушек в начале главы, цельность характера — благородством матери, вдовы ямщика. Эта простая женщина, склонившаяся над квашней, не принимает от Путешественника ста рублей, которые требует отец жениха, теряющий работника. «Благородный поступок ее матери меня пленил», — говорит Путешественник, знающий, что любая полковница и генеральша приняли бы деньги на приданое дочери, хотя бы давались они совсем не с такими чистыми намерениями. Конечно, сумма должна быть больше, соответственно званию. Какой городской матушке «не хочется видеть дочку в позлащенной карете, в бриллиантах»? Сохранят приличие маменьки, поломаются месяц-два, но не больше. «Тысячи голосов на меня подымаются; ругают меня всякими мерзкими названиями: «мошенник, плут, кан.. бест... и пр... и пр...» Голубушки мои, успокойтесь... Уже ли все таковы? Поглядитесь в сие зеркало: кто из вас себя в нем узнает, та брани меня без всякого милосердия. Жалобницы и на ту не подам...»

Описательная сатира переходит в комедийную сценку: так и видишь разъяренных маменек, наперебой бранящих смеющегося Путешественника.

Потому ли, что Радищев любил театр, потому ли, что просторечье прижилось в русской комедии раньше, чем в прозе, — в сатирических диалогах «Путешествия» создаются особенно яркие, выразительные образы.

От мысленной перепалки с рассерженными барыньками Путешественник возвращается к думам об Анюте. Встреча с прекрасной во всех отношениях девушкой заставляет его пересмотреть собственную жизнь, многое понять в ней. Мы не будем решать, что́ в словах Путешественника соответствует биографии писателя, ибо важен сам факт обращения к форме исповеди, которая шла от потрясшей Европу «Исповеди» Руссо и «Страданий молодого Вертера» Гете, но в русской литературе находила место лишь в лирике. Не менее важна вера в активную силу красоты и добра, которая за-

ставляет Путешественника жалеть, что он не встретился с Анютой раньше.

Разговор с ямщиком, двоюродным братом Анюты, введенный лишь в окончательную редакцию «Путешествия», — опять-таки живая сценка. «Улыбаясь и поправляя шляпу», молодой человек подсмеивается над барином и дополняет характеристику девушки: «Какая мастерица плясать! Всех за пояс заткнет... А как пойдет в поле жать... загляденье».

Есть надежда, что Анюта будет счастлива. Она не крепостная. Властная прихоть барина не искалечит ее жизни, она может отказаться от нежеланного брака. В семье есть скромный достаток, которого не бывает у крепостных. Относительное благополучие семьи ямщика не разрешает общих проблем, но в наивном повествовании Анюты, в облике ее матери сквозят такие черты национального характера, такая душевная твердость, которые являются залогом исполнения пророчества: «Крестьянин в законе мертв... Нет, нет, он жив, он жив будет, если того восхочет...»

О том, что желание это становится все более сильным, говорит глава «Хотилов». Путешественник находит бумаги, оставленные, как выясняется далее, его приятелем. «Хотилов», одна из самых трудных для понимания глав, закономерно вызывает различную трактовку.

Некоторые исследователи видят в «Хотилове» пародию на пышные манифесты Екатерины II, другие — изложение взглядов Фонвизина, третьи — доказательство либерализма Радищева. О Фонвизине и говорить в данном случае не стоит: известно, что, резко критикуя екатерининскую монархию и крайности крепостничества, автор «Недоросля» нигде не ставил вопроса об отмене крепостного права. Трактовка «Хотилова» как пародии отпадает в силу серьезности самой главы. Что пародировали слова о братьях, находящихся «в узах рабства»? Как можно считать пародией проклятье рабовладельческой Америке? Проклятье, исполненное тем большей болью, что за несколько лет перед этим Радищев в оде «Вольность» воспел вождя свободной армии Вашингтона, с любовью писал о стране, где победила свобода:

К тебе душа моя вспаленна,
К тебе, словутая страна,
Стремится, гнетом где согбенна
Лежала вольность попрана;
Ликуешь ты! а мы здесь страждем!..
Того ж, того ж и мы все жаждем;
Пример твой мету[1] обнажил...

[1] Цель.

Тот, кто верит утверждениям, будто эти строки «Вольности» написаны в 1799—1800 гг.,[1] наверное, не вдумывался в смысл отречения от былого признания США «блаженной страной» и страшного проклятья, прозвучавшего в «Хотилове»: «И мы страну опустошения назовем блаженною... Назовем блаженною страною, где сто гордых граждан утопают в роскоши, а тысящи не имеют надежного пропитания, ни собственного от зноя и мраза укрова. О дабы опустети паки обильным сим странам! дабы терние и волчец, простирая корень свой глубоко, истребил все драгие Америки произведения!»

После этих строк Радищев не мог писать об Америке как «блаженной стране», не мог включить соответствующие строфы в «Путешествие». И не пародия это, как не пародия и предупреждение о нависшей угрозе крестьянского восстания, и проект освобождения крестьян, которому уступали многие проекты декабристов.

Сложность «проекта» в том, что читатель воспринимает его через несколько звеньев. Читает бумаги Путешественник. Написаны они его приятелем, но написаны от лица государственного деятеля, живущего уже в XIX веке. Особенно ясно это в допечатных редакциях, где о пугачевском восстании говорится как о событии «прошедшего столетия», а после «проекта» стоит дата: «Дано в ...18... года».

В печатном тексте прямой отсылки к XIX столетию нет, но ясно, что мнимый автор проекта — просвещенный государь — и люди, к которым он обращается как к «согражданам», живут через несколько десятилетий после Радищева. России, представленной в «Путешествии», уже нет. Прекратились захватнические войны, уничтожена путаница в законодательстве, улучшилась система воспитания и образования, укрепилась семья. Однако общее благополучие не достигнуто, ибо существует крепостное право. Оно должно быть уничтожено, ибо рабство бесчеловечно, рабский труд непроизводителен, сдерживаемый силой стихийный гнев крестьян рано или поздно прорвется. «Мы узрим окрест нас меч и отраву. Смерть и пожигание нам будет посул за нашу суро-

---

[1] Эту точку зрения высказал Г. П. Шторм в книге «Потаенный Радищев» (М., «Советский писатель», 1965, стр. 232—238) и повторил во втором издании (М., 1968), хотя исследователи указали на ошибочность гипотезы (см.: «Русская литература», 1966, № 1, стр. 246—247, 250—252, 256).

вость и бесчеловечие», — грозит автор проекта, напоминая далее о пугачевском восстании. Зная, что дворяне все равно будут сопротивляться против внезапного и полного освобождения крестьян, он намечает программу реформ, постепенно ведущих к окончательной отмене крепостного права.

Можно ли считать проект либеральным, поскольку речь идет об освобождении крестьян «сверху»? — Нет. История русского революционного движения сложилась так, что первое вооруженное восстание против самодержавия осуществили люди, разделявшие идеи «гражданина будущих времен». Более того: «Проект в будущем» не только выдерживает сравнение с проектами декабристов, но и решительнее, последовательнее многих. Только «Русская правда» П. И. Пестеля предусматривала наделение крестьян пахотной землей. И не случайно в одном из списков «Путешествия», сделанных в период подъема декабристского движения, к строкам, излагающим мероприятия по освобождению крестьян, сделана пометка: «Внимание». Видимо, прочитав главу, владелец списка дал ей общую оценку — «Замечательна». Другой читатель приписал: «Соглашаюсь». Так шла перекличка поколений. Радищев оставался в строю.

Первоначально за «Хотиловым» шел проект об уничтожении придворных чинов. Но Радищев вернул Путешественника, а с ним и читателя к реальной действительности, наглядно представляя в главе «Вышний Волочок» еще один вид эксплуатации — перевод крестьян на месячину и причины растущего гнева крестьян. Обращаясь к тем, кто равнодушно смотрит, как обогащаются баре за счет жесточайшей эксплуатации и разорения крестьян, Путешественник призывает к отмщению: «Сокрушите орудия его земледелия; сожгите его риги, овины, житницы и развейте пепл по нивам, на них же совершалося его мучительство; ознаменуйте его яко общественного татя, дабы всяк, его видя, не только его гнушался, но убегал бы его приближения, дабы не заразиться его примером».

Новый «Проект в будущем», прочитанный Путешественником в Выдропуске, обрушивается на кучку захребетников, содержание которых стоит народу очень дорого. Повторяя в иной форме сказанное в «Спасской Полести», проект показывает, что источником зла является неограниченная власть монарха: «Государи возмнили, что они суть боги... возмечтали цари, что рабы их и прислужники, ежечасно предстоя взорам

их, заимствуют их светозарности... На таковой блуждения мысли воздвигли цари придворных истуканов, кои истинные феатральные божки повинуются свистку или трещотке».

Излагая далее свою мысль, автор проекта показывает неправомерность содержания за счет государства личных слуг монарха, предпочтения их тем, кто действительно служит отечеству.

«Выдропуск», как и «Хотилов», заставляет удивляться проницательности Радищева, выразившего от имени будущего поколения мысли, которые действительно стали в центре внимания через тридцать лет. «Так называемый Двор не может иметь существования, признанного законами в земле благоустроенной», — писал глава Северного тайного общества в своем «Проекте конституции». Признавая за императором, «верховным чиновником», право иметь шталмейстеров, шенков, пажей и пр., Н. М. Муравьев считает, что звания не дают права этим особам «почитать себя в общественной службе, когда они посвятили себя служению одного лица, и потому они не получают ни жалованья, ни каких-либо вознаграждений из общественного казначейства». Оплачивать их услуги должен император, получающий жалованье. Кроме того, придворные — слуги одного лица, а не общества — не могут избирать и избираться на государственные должности, т. е. лишаются прав гражданства [1].

Исследователи не называют «Путешествие» среди источников «Конституции» Муравьева. И напрасно. Конечно, хотиловский проект освобождения крестьян неприемлем для Муравьева в силу своей демократичности. Возможно, что общность источника (конституция США) определила сходство представления о будущей России как федерации «малых светил» — республик у Радищева и объединения 14 держав и двух областей у Муравьева. Но почти текстуальные совпадения «Проекта конституции» с «Выдропуском» случайными быть не могут.

Окончание «Выдропуска», возлагающего надежды на монарха, который будет искать пути, «како власть со свободою сочетать должно на взаимную пользу», не вызывает реплик Путешественника, потому что развернутым комментари-

---

[1] Проект конституции Н. М. Муравьева см. в кн.: «Избранные социально-политические и философские взгляды декабристов», т. I. М., Госполитиздат, 1951, стр. 295—329.

ем служит следующая глава. Встреченный в Торжке собеседник рассуждает о вреде цензуры духовной и светской и оставляет Путешественнику «Краткое повествование о происхождении цензуры». В нем сделан смотр такому количеству монархов (в том числе тех, кого считали просвещенными государями) и так неопровержимо доказана мысль: «Он был царь. Скажи же, в чьей голове может быть больше несообразностей, чем в царской?» — что у читателя невольно рождается сомнение в возможности появления, даже в далеком будущем, монарха, способного сочетать «власть со свободою на взаимную пользу». Это сомнение усиливается потому, что рассказчик оперирует самыми современными примерами. Слова «он был царь» и т. д. относятся к австрийскому императору Иосифу II, который считался просвещенным монархом. А в примечании говорилось о возобновлении преемником Иосифа II цензурной комиссии, что стало известно только в конце марта — начале апреля 1790 г.[1] Эта последняя вставка показывает оперативность Радищева и сводит на нет усилия доказать, будто «Путешествие» переделывалось в 1799—1800 годах. Если бы Радищев начал переделку, он несомненно откликнулся бы на события бурного конца XVIII века.

Как и большинство глав, «Торжок» заканчивается иронической концовкой: «В России... Что в России с ценсурою происходило, узнаете в другое время. А теперь, не производя ценсуры над почтовыми лошадьми, я поспешно отправился в путь». Можно ли усматривать в этой усмешке отрицательное отношение Радищева к рассказанному? Так могут думать те, кто считает, что слова в «Едрове»: «Всяк пляшет да не как скоморох» — принижают последующий за ними «Проект в будущем». На деле же иронические концовки и вставки составляют неотъемлемую часть «Путешествия», разряжая драматизм повествования.

Глава «Медное» открывается мелодией веселой песни, которая напоминает о том, что народ жив, несмотря на все страдания. Но Радищев не дает длительного отдыха ни читателю, ни Путешественнику. В третий раз читаются найденные в Хотилове бумаги, но эта часть посвящена не будущему, а горькой картине настоящего. Рассказ о ней заглушает «радостный глас нехитростного веселия» для Путешест-

---

[1] Установлено Я. Л. Барсковым в статье «А. Н. Радищев. «Торжок». «XVIII век». Сб. 2. М.—Л., 1940, стр. 70.

венника и приводит самого автора проектов к выводу: «А все те, кто бы мог свободе поборствовать, все великие отчинники, и свободы не от их советов ожидать должно, но от самой тяжести порабощения». «То есть надежду полагает на бунт от мужиков», — записала Екатерина II. Действительно, жизнь подсказывает один выход. Надежды на «великих отчинников» иллюзорны. Судьбу России может решить только сам народ. Путешественник думал об этом в Софии; жизнь привела к тому же выводу и автора проектов, что уже не связывает его с декабристами, а решительно отличает от них, ибо они надежд на «бунт от мужиков» не возлагали.

Итогу предшествует картина продажи крестьян с публичного торга, показывающая, что ни преданность крепостных, ни кровные узы — ничто не меняет отношения бар. Продается старик, спасший от смерти отца молодого барина и его самого. Продается кормилица матери барина, ее дочь, выкормившая своего мучителя. Продается восемнадцатилетняя женщина. Изнасилованная барином, она держит в руках сына, живой слепок прелюбодейного отца. Все они, в том числе ребенок, в жилах которого течет барская кровь, будут проданы. Нет в барском сердце места чувству уважения, привязанности, благодарности. Это доходит до сознания даже мужа молодой женщины, который является ярким примером разлагающего влияния рабства на самих крестьян. Этот детина лет в 25 был верным слугой и наперсником, «спутником мерзостей» своего господина, пожертвовал честью жены, чтобы удовлетворить барскую прихоть. Теперь он вместе со всей семьей продается с аукциона. Крестьянин раскаивается в былом. В его руках нож, в глазах — «зверство и мщение». Автор рассказа, как и Радищев, и жалеет его, и осуждает: «Твой разум чужд благородных мыслей. Ты умереть не умеешь. Ты склонишься и будешь раб духом и состоянием».

Не только современники Радищева, но и писатели последующих поколений не осмелились повторить подобный образ. Только великий певец горя народного, столь же страстно ненавидевший крепостничество, как и Радищев, осмелился наряду с прекрасными, светлыми образами крестьян показать тех, чью душу искалечило рабство:

...Балуйтесь вы,
А я князей Утятиных
Холоп — и весь тут сказ, —

заявляет один из них уже после отмены крепостного права.

И если велика заслуга Некрасова, произнесшего эти страшные в своей правде слова, то поистине неизмерим подвиг Радищева, не побоявшегося сказать то же в XVIII веке!

Радищев не стал на путь идеализации крестьян, потому что добивался иной, лучшей жизни для них. Но сказав и о снохачестве и о «рабах духом и состоянием», он был твердо уверен, что растлевающее влияние рабства затрагивает крестьян меньше, чем их господ. Крестьяне лучше, чище, благороднее помещиков — это достаточно убедительно показано в книге. Они, крестьяне и бурлаки, будут решать судьбу России. Эта мысль, высказанная еще в «Софии», положена в основу оды «Вольность», где доказана неизбежность народной революции.

Полный текст оды, написанной около 1783 г., состоял из 54 строф. После раздумий и переделок Радищев ввел в «Путешествие» 14 строф полностью, 14 — в сокращении и пересказе, остальные — только в пересказе. Но и в этом виде ода осталась гимном свободе. На основании теории естественного права поэт говорит, что, рожденные абсолютно свободными, люди ограничили полную естественную свободу свободой гражданской ради того, чтобы государство защищало слабых, что утвердившаяся тирания и рабство противны человеческой природе и неизбежно должны быть уничтожены революционным путем:

Возникнет рать повсюду бранна,
Надежда всех вооружит;
В крови мучителя венчанна
Омыть свой стыд уж всяк спешит.
Меч остр, я зрю, везде сверкает;
В различных видах смерть летает
Над гордою главой паря.
Ликуйте, склепанны народы:
Се право мщенное природы
На плаху возвело царя.

Месть народа осмысленна и оправданна. Монарх, который «в народе зрит лишь подлу тварь», монарх, забывший о своей священной обязанности оберегать сирых и невинных, блюсти законы, руководствоваться только интересами народа, — преступник. В тексте «Путешествия» после всех переработок остались строфы, рисующие суд разгневанного народа над тем, кто обманул его доверие, обратил власть во зло.

Все создано народом. Он покрыл море кораблями, его трудом обогащается земля. Его сыновья составляют армию, которая защищает государство от внешних врагов.

Царь, забывший, что он лишь слуга народа, а не господин его, царь, раздающий богатство страны любимцам и ради этого отнимающий последнее рубище у бедняка, «злодей, злодеев всех лютейший», — достоин казни.

В «Вольности» дана двойственная оценка деятеля английской революции XVII века О. Кромвеля. Осуждая Кромвеля за то, что он стал диктатором, автор славит его за смертный приговор королю Карлу I:

Великий муж, коварства полный,
Ханжа и льстец, и святотать!
Един ты в свет столь благотворный
Пример великий мог подать.
Я чту, Кромвель, в тебе злодея,
Что власть в руке своей имея,
Ты твердь свободы сокрушил.
Но научил ты в род и роды,
Как могут мстить себя народы,
Ты Карла на суде казнил.

На смену тирании приходит великий созидательный дух свободы. Опустив далее одиннадцать строф, в которых «заключается описание царства свободы» и благодетельное воздействие ее, Радищев также кратко пересказывает строфы, в которых приведены примеры недолговечности торжества вольности: «Из мучительства рождается вольность, из вольности рабство», — таковы кругообороты истории. Характерная для эпохи Просвещения мысль подтверждалась, видимо, для Радищева не только давними примерами, но и очень близким. Освободительная война народов Америки, прославленная поэтом в полном варианте оды, обернулась блаженством для единиц и рабством, нищетою для сотен тысяч. Поняв это, Радищев проклял рабовладельческую Америку в «Хотилове» и изъял соответствующие строфы из «Вольности».

И все-таки поэт сохраняет предсказание «о будущем жребии отечества, которое разделится на части, и тем скорее, чем будет пространнее», то есть на множество «малых светил», объединенных «дружества венцем», как сказано в оде, а говоря соответствующим языком — о разделении огромной самодержавной махины на федерацию республик.

Все это еще далеко, но неизбежно. В конце концов «человечество возревет в оковах и направляемое надеждою свободы и *неистребимым правом природы* (курсив мой. — *Л. К.*) двинется, и власть будет приведена в трепет. Тогда всех сил сложенье, тогда тяжелая власть

Развеется в одно мгновенье,
О день, избраннейший всех дней!»

Таким образом, и сокращенная ода оставалась революционной. Ни опыт истории, ни пример Америки не уничтожили веры поэта в неизбежность именно русской революции. И Екатерина II была совершенно права, с своей точки зрения, когда назвала оду «совершенно явно и ясно бунтовской, где царям грозится плахою».

Включая в ту же главу рассуждения о поэзии, наделяя образ поэта чертами подлинного революционера, Радищев еще раз говорил об активной общественной роли литературы. Верой в могущество слова проникнуто «песнословие» «Творение мира». Оно утверждало силу слова «божественного глагола», вечного, бессмертного, призванного бороться с несовершенством мира.

«Творение мира» не вошло в печатный текст, может быть, из нежелания автора сосредоточиваться на библейских мотивах, особенно после того как «Путешествие» завершилось «Словом о Ломоносове» — подлинным гимном могуществу разума, поэзии, гимном слову, но слову Человека, а не бога [1].

«Тверь»—кульминация темы нарастания народного гнева,

---

[1] Выдвинутая Г. П. Штормом гипотеза, что «Творение мира» создано в конце столетия, когда Радищев якобы дописывал «наиболее революционные» места книги, — плод недоразумения. Во-первых, «Творение мира» не придает большей революционности великой книге. Во-вторых, утверждая, что написанное для великого поста песнословие могло появиться после указа Павла I, «запретившего» театральные постановки и разрешившего исполнение духовных песнопений, исследователь забыл, что церковь запретила светские спектакли на время великого поста еще в средние века. Именно поэтому в XVIII в. уже при Елизавете Петровне из-за границы приглашали музыкантов для организации великопостных концертов. В-третьих, жанр оратории, к которому может быть отнесено песнословие, Радищеву был известен с времен учения в Лейпциге. В России оратории стали исполняться не только во дворце, но и в Музыкальном клубе и на открытых публичных концертах с конца 1770-х годов. Рьяным организатором таких концертов был знакомый Радищеву француз Пезибль. И, наконец, отдаленное сходство радищевского «Творения мира» с либретто оратории Гайдна «Сотворение мира» обусловлено темой, восходящей к библии, хотя Радищев и придал песнословию деистический характер.

утверждение неизбежности революции. Далее Радищев возвращает читателя к реальной действительности и вводит, как всегда, ироническую концовку.

«Вот и конец», — сказал мне новомодный стихотворец.— Я очень тому порадовался и хотел было ему сказать, может быть, неприятное на стихи его возражение, но колокольчик возвестил мне, что в дороге складнее поспешать на почтовых клячах, нежели карабкаться на Пегаса[1], когда он с норовом».

Значит ли эта шутка, что Путешественник всерьез не согласен с какими-то положениями «Вольности», или Радищев подчеркивает свое неприятие принципов поэта-революционера? — Конечно, нет. Каждый, кто внимательно читал «Путешествие», может понять, что большей частью ирония возвращает от высоких помыслов к повседневности. На этот раз шутка была особенно нужна, так как далее развертывается драматическое повествование.

Городня. Частые в годы, когда Россия вела две войны (с Турцией и Швецией), — проводы рекрутов. Многопланова глава и остро полемична.

В последней трети XVIII в. народное творчество разными путями проникало в литературу. За любовной лирикой, на которую опирались многие поэты, права гражданства получила обрядовая поэзия. Сцены сватовства, девичника подчас служили основным стержнем произведений. Мелодии народных песен звучали со сцены. Все это удовлетворяло потребность в усилении национального характера искусства и создавало иллюзорное представление о жизни народа как вечном празднике.

В «Путешествии» представлены будни, трагические будни. Потому только едровский ямщик восхищается пляской Анюты. И только одну строку веселой хороводной песни услышал Путешественник в Медном: остальные заглушило чтение рассказа о продаже крестьян. Не обрядность интересует писателя, когда он взволнованно повествует о принудительном браке в «Черной грязи». Зато в «Городне» мы вместе с Путешественником слышим горестные причитания старухи-матери, провожающей единственного сына. Слышим причитания невесты, силой чувств и чистотой помыслов напоминающей Анюту. Она не сетует на родителей, клянет не

[1] *Пегас* — мифический крылатый конь, символ поэтического вдохновения.

злую разлучницу, а бесчеловечных старост, которые и обвенчаться не дали, одной ноченьки не оставили, уснуть не дали на белой груди: «Авось ли бы бог меня помиловал и дал мне паренька на утешение».

Радищев показывает, как рождается фольклор, как русские люди в тяжкую минуту изливают горе, и ранее сложившиеся образы получают новое звучание и обретают индивидуальный характер.

Характерным для «Путешествия» приемом контраста еще раз оттенено различие положения крестьян казенных и помещичьих. Едва находит в себе силу для утешения родных парень из экономического селения; радуется освобождению из-под власти господ крепостной: «По крайней мере без суда батожьем наказан не буду».

Крепостной этот принадлежал раньше хорошему барину. «Человек добросердечный, разумный и добродетельный, нередко рыдавший над участью своих рабов», воспитывал мальчика вместе с собственным сыном, отправил обоих для завершения образования за границу, но умер, не успев дать отпускную. Характер сына обрисован бегло, контуром, но он не прост, не прямолинеен, и эта намечающаяся усложненность представляет особый интерес как новый шаг в литературе. Даже жестоко оскорбленный крепостной говорит, что молодой барин «имеет много хороших качеств, но робость духа и легкомыслие оные помрачают». Несколько психологически достоверных штрихов расширяют и углубляют характеристику: «Из зависти, может быть, тесным душам свойственной», барчук не любил навязанного отцом более талантливого однокашника, но вынужден был терпеть его. Узнав о смерти отца, новый владелец еще утешает крепостного: «Он мне сказал, что сделанное мне обещание не позабудет, если я того буду достоин». Это голос уже не барчука, а барина. Он еще помнит завет отца, но вместо того, чтобы его выполнить, ставит условия, подчеркивает неравенство положения, свою силу, свою власть.

На первых порах воспитание все же не позволяет молодому барину притеснять того, с кем рядом он жил и учился. Но вскоре он легко и охотно поддается влиянию жены, которая увидела в товарище своего мужа только непокорного раба и за непокорность подвергала жестоким физическим и нравственным истязаниям. А он, интеллигентный человек, чувствовал их сильнее, чем другие крепостные: «Колико крат негодовал я на умершего моего благодетеля, что дал мне

душу на чувствование. Лучше бы мне было возрасти в невежестве, не думав никогда, что есмь человек, всем другим равный».

Грустная история крепостного интеллигента, отражающая судьбы многих талантливых крепостных, начинает тему, подхваченную А. И. Герценом в «Сороке-воровке». Радищев же полемизирует с передовыми людьми эпохи, в частности — с Новиковым и Фонвизиным, которые возлагали надежды на просвещенное дворянство. Он показывает, что растлевающее влияние среды может оказаться сильнее самого лучшего воспитания и родительского примера (именно этого опасался крестицкий дворянин, с размышлениями которого также связана «Городня»). За судьбу крепостных нельзя быть спокойным, пока существует крепостное право. Ее не изменит один или несколько добрых бар, как не изменил судебного приговора благородный чиновник Крестьянкин. Ждать милости от «великих отчинников» бесполезно: «Свободы не от их советов ожидать должно, но от самой тяжести порабощения». Этот вывод, заканчивающий «Медное», бесспорен и подтвержден картиной народной революции в «Вольности». Но когда и как она осуществится в России? Оправдывая стихийные бунты крестьян и охватившую значительную часть России крестьянскую войну под водительством Пугачева, Радищев, как и автор «проекта» в «Хотилове», где об этом идет речь, не хочет ее прямого повторения главным образом потому, что крестьяне «паки искали веселие мщения, нежели пользу сотрясения уз». Подлинное «сотрясение уз» — уничтожение неразрывно связанных между собою самодержавия и крепостничества. Кто может объяснить это крестьянам, кто внушит им мысль о необходимости сознательной борьбы?

К идее неизбежности народной революции приходят лучшие люди из дворян: Путешественник, автор «проектов» и записок о продаже крестьян в «Медном», создатель оды «Вольность». Могут ли они найти общий язык с народом? Радищев не раз показывает трудность, если не полную невозможность. Путешественник остается барином для пахаря в Любани, его присутствие тягостно семье едровской ямщичихи. «Перестань, барин, шутить над горькими людьми»,— отвечают скованные крестьяне в Городне, когда Путешественник пытается объяснить им беззаконие сделки, произведенной их помещиком.

Сочувствие и поддержку принимает только крепостной интеллигент. «Я прижал его к сердцу моему. Лицо его новым озарилось веселием. — «Не все еще исчезло, ты вооружаешь душу мою, — вещал он мне, — против скорби, дав чувствовать, что бедствие мое не бесконечно». Можно лишь догадываться, произнес ли Путешественник какие-то слова, или молчаливое объятие и глаза сказали больше, чем о сочувствии, и вооружили душу рекрута верою, что бедствие его (а бедствие — крепостная зависимость) не вечно. Думается, какие-то слова были произнесены.

Приведенный эпизод чрезвычайно важен, как важен и сам образ рекрута. Умный, талантливый, образованный человек, он один из тех немногих крестьян, которые являются носителями идеи сознательного протеста против рабства. Люди, подобные ему, и должны стать связующим звеном, которое сможет соединить революционную мысль передового дворянства со стихийной реальной мощью крестьянства. Так завершается тема поисков путей изменения существующего уклада. Но Радищев отлично сознает, что революция — дело далекого будущего, и подтверждает это в той же главе.

Вариации беззакония бесконечны. Ради покупки новой кареты барин продал трех крепостных селению государственных крестьян для поставки в рекруты. Это беззаконно, и господин дал фиктивные отпускные, о чем крестьяне не знают. Скованных «крепчайшими железами» юридически свободных людей под конвоем везут в волость, заплатившую деньги, а та отдает обманутых в солдаты.

«Вольные люди, ничего не преступившие, в оковах, продаются как скоты! О законы! премудрость ваша часто бывает только в вашем слоге», — восклицает Путешественник.

«Мудрость» действительно сохранялась лишь на бумаге, ибо описанный случай крайне типичен. Несмотря на неоднократные запрещения, на указы, ограничивающие сроки продажи, торговля рекрутами происходила постоянно, ибо была выгодна для помещиков. О том, как можно обходить законы, писал Ф. А. Эмин в сатирическом журнале «Адская почта» еще в 1769 г. О крестьянине, которого продают в рекруты именно потому, что барину понадобилась новая карета, рассказывалось в комической опере Я. Б. Княжнина «Несчастье от кареты» 1779 г. Сопротивляющегося крестьянина Лукьяна также заковывают «в железы», но и скованный он грозит насильнику-приказчику:

Увидишь, тот, кто все теряет,
Тот все на свете презирает.

Повторил ли ситуацию Радищев в силу ее типичности, или опера Княжнина на него произвела сильное впечатление, мы не знаем, но совпадение примечательно. Правда, по закону жанра, комическая опера заканчивалась благополучно для героев, но благополучие это относительно: вместо Лукьяна, по приказу барина, будет продан другой крепостной. Путешественника же, пытающегося разъяснить несчастным, что с ними поступают беззаконно, сначала не понимают сами крестьяне, а затем бесцеремонно отталкивают конвоиры: «Отойди, пока сух».

Мысль, что скованные крестьяне завтра станут храбрыми солдатами, и разговор с крепостным интеллигентом позволяют Путешественнику произнести пророческие слова: «О, если бы рабы, тяжкими узами отягченные, яряся в отчаянии своем, разбили железом, вольности их препятствующим, главы наши, главы бесчеловечных своих господ, и кровию нашею обагрили нивы свои! Что бы тем потеряло государство? Скоро бы из среды их исторгнулися великие мужи для заступления избитого племени, но были бы они других о себе мыслей и права угнетения лишенны. — Не мечта сие, но взор проницает густую завесу времени, от очей наших будущее скрывающую; я зрю сквозь целое столетие».

Трудно переоценить значение трагического и оптимистического вывода, зрелость мыслителя, понимающего и неизбежность и отдаленность коренных перемен в жизни России. Вместе с тем эти слова заставляют вспомнить речи обвинителей Крестьянкина, убежденных, что ослабление власти крепостников поведет к хаосу и «общество узрит свою кончину». Нет, уверенно отвечает Радищев: вышедшие из народной среды великие мужи будут непохожи на современных жестоких господ и бездарных вельмож.

Ответив на основной вопрос, писатель вернулся к картинам, в какой-то мере повторяющим начальные главы. Бытовые драматические сцены, публицистические размышления сменяются доведенной до гротеска сатирой в «Завидове».

Бегает, дрожит от страха староста ямщиков, слушая «выражения исполненную» речь гренадера, потрясающего плетью. Пятьдесят лошадей надо достать для приближающегося высокопревосходительства, а на станции тридцать. «Роди, старый черт. А не будет лошадей, то тебя изуродую». Поневоле вспомнишь и поймешь испуг комиссара из Софии:

«Кто приехал? не...», а заодно и его нежелание затруднять себя для того, кто не вправе пустить в ход плеть.

Крик ямщиков, конский топот, непроницаемое облако пыли, в котором бы «Дон Кишот, конечно, нечто чудесное увидел». Перед Дон Кихотом предстало стадо баранов, а перед ямщиками его высокопревосходительство «от пыли серовиден, отродию черных подобен». Через пятнадцать минут полетело оно далее, вновь поднимая пыль столбом.

«Блаженны в единовластных правлениях вельможи. Блаженны украшенные чинами и лентами. Вся природа им повинуется. Даже несмысленные скоты угождают их желаниям, и дабы им в путешествии, зевая, не наскучилось, скачут они, не жалея ни ног, ни легкого и нередко от натуги околевают...»

Мы помним по «Спасской Полести», как летали через всю Россию курьеры за устрицами для наместника; помним искаженные отчаянием лица придворных при зевке монарха и озаренные радостью при его чихании. Гротескна и фигура, в которой столько же величия, сколько в стаде баранов. Принадлежит ли она к «первым чинам государственным»? — Неизвестно. Часто грозят плетью от имени ничтожества, того, кто при дворе ни «А», ни «О» вымолвить не смеет, — напоминает Путешественник о неизданной сатирической «Придворной грамматике» Д. И. Фонвизина. А о нравственных качествах вельмож и говорить не приходится: может быть, «обман, вероломство, предательство, блуд... грабеж, убивство не больше ему стоят, как выпить стакан воды», срывается писатель с комического тона на гневный. Как колдуны властвуют в деревнях, так знатность и чины творят чудеса, и горе тому, кто посмеет сказать правду, обнаружить «колдовство вельмож».

Гневная сатира сменяется лирической сценой. В главе «Клин» нет вельмож. Поет духовный кант слепой старик. Его спокойный облик, умиротворенные лица крестьян совсем непохожи на оглушительную суету вокруг пыльного превосходительства.

Прост напев, но бесхитростные, чистые души он трогает сильнее, чем творения великих композиторов в исполнении лучших певцов пресыщенных петербуржцев. Радищев вовсе не противопоставляет нищего певца профессиональным артистам, а народную мелодию созданиям великих композиторов, как говорят порою. Он был скрипачом, любил Гайдна, Глюка, Моцарта, в Сибири вспоминал выдающихся пев-

цов. В «Клине» противопоставлена эстетическая и душевная чуткость простых людей, растроганных «неискусным напевом», глухоте избалованной столичной публики, которую подчас не музыка занимала на концертах. Вместе с тем Радищев очень высоко поднимает народное творчество, сравнивая слезы Путешественника, вызванные напевом, с реакцией на «Страдания молодого Вертера» Гете.

О благородстве простых людей говорит история женщины, которая носит старику пироги по воскресеньям за то, что тридцать лет назад он избавил от побоев ее отца. Как не вспомнить при этом барина, продающего семью кровно связанных с ним людей («Медное»), молодого барина, отдавшего на поругание товарища своего детства («Городня»). Контраст двух Россий неумолимо предстает перед Путешественником и читателем от начала до конца.

Чист и ясен образ храброго солдата в прошлом, ныне нищего певца, умеющего взволновать слушателей. Он отказывается от слишком большой милостыни — рубля, как отказалась от ста рублей едровская ямщичиха. И только сердцем почувствовав искреннее огорчение Путешественника, принимает подарок — шейный платок. Сентиментальна эта сцена? — Ну и что же. «Страдания молодого Вертера» тоже сентиментальны.

Убеждая, что людьми в полном смысле слова являются крестьяне, рисуя страшные картины нищеты и бесправия, Радищев заставляет героя в конце путешествия войти в крепостную избу. Здесь могла жить и семья любанского пахаря, и крепостные зайцовского помещика, и вышневолоцкого помещика, посадившего крестьян на месячину. Шутка, начинающая главу, замирает. Выслушивая скорбные упреки крестьянки, замешивающей тесто из трех четвертей мякины и одной части несеяной муки, Путешественник смотрит вокруг себя: стены и потолок покрыты сажей, пол в щелях, печь без трубы, дым, зимою и летом заполняющий избу, затянутые пузырем окна, сквозь которые свет проходит лишь в полдень; два или три горшка, деревянная чашка, кружки, «тарелками называемые», корыто для свиней и телят, находящихся тут же, если они есть, воздух, «в коем горящая свеча как будто в тумане или за завесою кажется».

Меткий глаз так точно замечает общую картину нищеты и бытовые детали, что советские музеи быта, по словам Н. К. Пиксанова, доныне изготовляют по «Пешкам» макеты

«черной» избы [1]. Действительно, во всей русской литературе XVIII, да, пожалуй, и XIX веков нет равноценного описания, предвестием которого является картина нищей избы в «Отрывке путешествия в ***И. Т.», напечатанном в «Живописце» Н. И. Новикова, но справедливо приписываемом Радищеву.

«Звери алчные, пиявицы ненасытные, что крестьянину мы оставляем: то, чего отнять не можем — воздух. Да, один воздух... Закон запрещает отъяти у него жизнь. — Но разве мгновенно. Сколько способов отъяти ее у него постепенно! С одной стороны почти всесилие, с другой — немощь беззащитная... Се жребий заклепанного во узы, се жребий заключенного в смрадной темнице, се жребий вола во ярме...»

Последний штрих — унылый свадебный поезд насильственно обвенчанных крепостных («Черная грязь»). Отняв у крестьян все, кроме воздуха, стозевное чудище добирается до интимной жизни, втаптывая в грязь самые сокровенные чувства.

«О горестная участь многих миллионов! Конец твой сокрыт еще от взора и внучат моих...»

За этим восклицанием в цензурной рукописи следовал рассказ о встрече Путешественника с отчаявшимся человеком, который вследствие не очень ясных причин (в рукописи утрачены два листа) кончал жизнь самоубийством. «...Въезд мой в Москву был скорбен. Москва! Москва!!!»

Последний эпизод соотносился с тем, что говорилось в «Софии» и «Крестьцах». Однако выросшая в процессе нескольких лет работы над книгой стройная концепция требовала иного завершения. Нагнетение драматических эпизодов придавало книге пессимистическую окраску, и писатель сразу за восклицанием об отдаленности коренных перемен в жизни народа перешел к характерной разрядке — бытовому разговору: «Я тебе, читатель, позабыл сказать, что парнаский судья, с которым я обедал в Твери, мне сделал подарок... Если тебе захочется спать, то сложи книгу и усни. Береги ее для бессонницы».

Шутка смягчила горечь, но этого было мало. Слова о «парнаском судье» напоминали о «Вольности», оде, утверждающей неизбежность революции. Подарок «парнаского

---

[1] См.: «XVIII век». Сб. 3. М.—Л., изд. АН СССР, 1958, стр. 319. «Черная» изба — изба без трубы: дым стелется под потолком и выходит в маленькое задвижное оконце, если его открывают.

судьи» — «Слово о Ломоносове», оптимистический, мажорный финал «Путешествия», как верно назвал его Г. П. Макогоненко.

Прежде, чем перейти к его рассмотрению, вспомним предыдущие главы.

Самодержавно-крепостническая Россия представлена Радищевым так полно, что Путешественник должен был быть гением, чтобы передумать и осознать все на протяжении недели, в течение которой он ехал из Петербурга в Москву. Превращение его за это время из «политического недоросля» в революционера противоречило бы человеческим возможностям, правде, реализму. О драматизме русской жизни и решающей роли народа в судьбах России он думал до поездки (см. «София»). Дорожные впечатления укрепили и ненависть, и веру. Со многим он сталкивается сам, о многом узнает из рассказов встреченных людей и найденных бумаг. При этом образы сочувственников и единомышленников выступают в строгой последовательности.

Ч. усомнился в справедливости существующих порядков, когда жизнь ударила его самого. Семинарист возлагает надежды на просвещение. Крестьянкин уже деятельно борется за спасение невинных убийц асессора. Крестицкий дворянин воспитывает истинных сыновей отечества, способных стоять за правду, не боясь ни гонений, ни смерти. От надежд на реформы свыше к мысли о неизбежности (и необходимости) восстания народа приходит автор утерянных бумаг. За свободу слова борется противник цензуры, бросающий резкие упреки в адрес царей. Подлинно революционно настроен поэт, автор «Вольности» и «Слова о Ломоносове».

Трое из них Ч., Крестьянкин, автор «проектов» — старые приятели Путешественника. Четверо — случайно встреченные в пути люди. Если прибавить к ним человеколюбивого барина, воспитавшего Ванюшу («Городня»), и «чувствительного друга», о котором говорится в «Вышнем Волочке», то оказывается, что Путешественник со своими страстными проклятиями рабству не одинок. Десять честных людей — не рабов и не мучителей, а граждан, сыновей отечества — не так мало. К ним можно прибавить одиннадцатого: как бы ни относился реальный А. М. Кутузов к идеям Радищева, но А. М. К., которому посвящено «Путешествие», — друг и «сочувственник» и Путешественника и автора, черты которых часто сливаются.

Каждый из этих людей идет своим путем. А. М. К. только пассивно сочувствует страданию других. Разгневанные Ч. и Крестьянкин, выразив протест однажды, отказываются от дальнейшей борьбы (может быть, временно, особенно Крестьянкин), другие мечтают о реформах, совершают добрые поступки, борются силой печатного слова, третьи зовут к революции. Объединив своих героев состраданием к народу (а порою и передоверяя им свои чувства и думы), Радищев показал, что Путешественник не одинок. Угнетение не только вызывает стихийный отпор со стороны крестьян, но и воспитывает своих врагов в той среде, подавляющее большинство которой составляют ненавистные автору рабы-мучители. Зоркость и правоту Радищева подтвердило через тридцать пять лет восстание декабристов.

Главы, написанные от имени других людей, близки думам Путешественника, и потому они едины по тональности. Взволнованные реплики, небольшие лирические монологи вливаются в поток раздумий и негодующих тирад Путешественника и, объединяясь, превращаются в единое скорбное и грозное целое, а те, кто произносит их, близки друг другу как истинные сыны отечества. Сходство положительных персонажей и позволяет подчас не замечать, что рассказ о продаже крестьян принадлежит автору «проектов в будущем», а «Слово о Ломоносове» — поэту, написавшему «Вольность».

Как уже говорилось, сложность положения усугубляется тем, что сочувствующие крестьянам люди находят с трудом или вовсе не находят с ними общий язык. «Небось, в мою кожу не захочешь, барин», — говорит Путешественнику любанский крестьянин в начале пути. «Не слезы ли ты своих крестьян пьешь, когда они едят такой же хлеб, как и мы», — гневно спрашивает крестьянка на подмосковной станции. И если в Любани Путешественник говорил: «У меня, мой друг, мужиков нет», то в Пешках он молчит, подавленный болью за крестьян и стыдом за сословие, к которому принадлежит.

Вскрытый Радищевым разрыв между крестьянами и сочувствующими им дворянами — дополнительное свидетельство глубокой правды его книги. Однако писатель не теряет надежды: о взаимопонимании говорит объятие Путешественника с крепостным интеллигентом. А ведь именно из среды таких людей выйдут «великие мужи для заступления избитого племени».

О громадных потенциальных возможностях, таящихся в народе, говорит «Слово о Ломоносове». Радищев начал работу над ним как самостоятельным произведением еще в 1780 г., когда, после длительного замалчивания неугодного императрице поэта, Ломоносова стали расхваливать как «певца Елизаветы» — певца самодержавия, не забывая при этом подчеркивать подражательный характер его творчества.

Радищев отверг официальную точку зрения: «Пускай другие, раболепствуя власти, превозносят хвалою силу и могущество. Мы воспоем песнь заслуге к обществу». Он проследил тернистый путь героя, увидел метания гениального юноши, его волю, настойчивость, которые помогли сыну архангельского помора преодолеть неблагоприятные обстоятельства. Позднее в «Сокращенном повествовании о приобретении Сибири» Радищев назовет те же качества чертами национального характера: «Твердость в предприятиях, неутомимость в исполнении суть качества, отличающие народ Российский...

О народ, к величию и славе рожденный, если они обращены в тебе будут на снискание всего того, что соделать может блаженство общественное!» — с тоской и надеждой добавил писатель-революционер (2, 146—147).

Прослеживая биографию великого человека, Радищев разрушает представление о нем как феномене, появившемся только благодаря поддержке монарха и меценатов. Перед читателем возникает образ гениального человека, вышедшего из «среды народныя» и кровно связанного с нею. И ода «На взятие Хотина» — не подражательное произведение, а «первородное чадо стремящегося воображения не по проложенному пути», и система стихосложения основана на понимании национальных особенностей русского языка, равно как и грамматика, учитывающая «забытое в книгах церковных». Другое дело, что, человек нового времени, Ломоносов учитывал опыт античной и европейской культуры, и сам успех его — свидетельство значения реформ Петра I: «Когда народ направлен единожды к усовершенствованию, он ко славе идет не одной тропинкою, но многими стезями вдруг».

В свою очередь великий поэт сторицей вернул долг воспитавшей его стране: «Прияв от природы право неоцененное действовать на своих современников, прияв от нее силу творения, поверженный в среду народныя толщи великий муж

действует на оную... Тако и Ломоносов... отверзал общему уму стези на познании».

Только выяснив истинную роль Ломоносова в истории русской культуры, Радищев переходит к тому, что обычно считалось заслугой: «Не завидую тебе, что, следуя общему обычаю ласкати царям, нередко недостойным не токмо похвалы, стройным гласом воспетой, но ниже́ гудочного бряцания, ты льстил похвалою в стихах Елисавете».

Умолчать об этой слабости нельзя: «Истина есть высшее для нас божество». Оставаясь верным принципу «истины в люблении», Радищев указывает на ряд других недостатков Ломоносова, не считает его великим историком, недооценивает труды в области естественных наук, видит недостатки драматургии, прозы и даже поэзии. И все-таки: «Прославиться всяк может подвигами, но ты был первый». «Беги, толпа завистливая. Се потомство о нем судит. Оно нелицемерно».

Цензурное разрешение на публикацию «Путешествия» получено 22 июня 1789 г., «Слова о Ломоносове» — 25 сентября. Видимо, в эти два месяца Радищев решил сделать «Слово» заключением «Путешествия» и написал новое начало — Посвящение А. М. К. Книга меняла тональность. Раньше она начиналась «Выездом» — грустным прощанием с друзьями — и заканчивалась скорбным въездом в Москву. Теперь она открывалась признанием — «Душа моя страданиями человечества уязвленна стала», которое смягчалось утверждением — «Возможно всякому быть соучастником во благодействии себе подобных», мыслью об активной роли литературы: «Но если, — говорил я сам себе, — я найду кого-либо, кто ...сострареждет со мною над бедствиями собратии своей, кто в шествии моем меня подкрепит, не сугубый ли плод произойдет от подъятого мною труда?»

По дороге из Петербурга в Москву Путешественник увидел картины более страшные, чем Телемак в аду, но высказанная в Посвящении надежда подкреплялась «Словом о Ломоносове». Человек может преодолеть препятствия. И хотя творчество Ломоносова не совершенно, потомство благодарно ему. «Недостойны разве признательности мужественные писатели, восстающие на губительство и всесилие, для того, что не могли избавить человечество от оков и пленения?» — вводит писатель уже в печатный текст затаенную мысль. Отвечая, он сравнивает действие слова и разума с моментом создания мира. «Первый мах в творении всесилен был; вся чудесность мира, вся его красота суть только

следствия. Вот как понимаю я действие великия души над душами современников или потомков; вот как понимаю действие разума над разумом».

Через два года сосланный в Илимск Радищев сравнит воздействие смелой мысли с искрой, от которой разгорается пожар, с силой электрического тока, с магнитом и добавит: «Но нужны обстоятельства, нужно их поборствие, а без того Иоган Гус издыхает во пламени, Галилей влечется в темницу, друг ваш в Илимск заточается. Но время, уготовление отъемлет все препоны» (2, 129).

Автор «Путешествия» знал, что время еще не пришло, но не убоялся заточения. Признав силу воздействия разума над разумом, подтвердив право на признательность последующих поколений по отношению ко всем, кто стоит в начале пути, он отбрасывал последние сомнения и звал за собой. Можно было ставить точку. Радищев закончил всю книгу, как и отдельные главы, шуткой:

«Но, любезный читатель, я с тобою закалякался... Вот уже Всесвятское... Если я тебе не наскучил, то подожди меня у околицы, мы повидаемся на возвратном пути. Теперь прости. — Ямщик, погоняй.

Москва! Москва!!!»

Мы закрываем книгу, потрясенные обрушившейся на нас лавиной чувств, мыслей, картин, и низко склоняем голову перед героизмом писателя-революционера.

Мы прощаемся с Путешественником—мыслителем, философом и таким простым человеком, который уставал от езды, выходил из коляски, чтобы размять ноги, потирал ушибленные бока, с удовольствием пил кофе, любил пригоженьких девочек, грустил, страдал и плакал, видя горе человеческое, звал к возмездию, сквозь столетие предвидел будущее России и шутил, улыбаясь сквозь слезы.

До свидания, друг! Мы еще встретимся. Непременно встретимся. «Путешествие из Петербурга в Москву» — одна из тех великих книг, которые надо читать и многократно перечитывать. Это мы поняли.
